

СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ КЛУБ УБИЙЦ БУКВ

— Пузыри над утопленником.

— Как?

Треугольный ноготь — быстрым глассандо — скользнул по вспучившимся корешкам, глядевшим на нас с книжной полки.

— Говорю, пузыри над утопленником. Ведь стоит только головой в омут, и тотчас — дыхание пузырями кверху: вспучится и лопнет.

Говоривший ещё раз оглядел ряды молчаливых книг, стеснившихся вдоль стен.

— Вы скажете — и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зелёное качание побережья. Пусть так. Но тому, кто уже ртом в дно: нужно ли это ему?

И вдруг, будто наткнувшись на какое-то слово, он встал и, охватив пальцами локти, оттянутые к спине, зашагал от полки к окну и обратно, лишь изредка проверяя глазами мои глаза:

— Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше, это оттого, что в жизни одним человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир. Пузырями к дню — собой к дню? Нет, благодарю покорно.

— Но ведь вы же, — попробовал я робко не согласиться, — ведь вы же дали людям столько книг. Мы все привыкли читать ваши...

— Дал. Но не даю. Вот уж два года: ни единой буквы.

— Вы, как об этом пишут и говорят, готовите новое и большое...

У него была привычка недослушивать:

— Большое ли — не знаю. Новое — да. Только те, кто об этом пишут и говорят, это-то я твердо знаю, не получают от меня больше ни единого типографского знака. Поняли?

Мой вид, очевидно, не выражал понимания. Поколебавшись с минуту, он вдруг подошел к своему пустому креслу, пододвинул его ко мне, сел, почти коленями к коленям, пытливо вглядываясь в мое лицо. Секунда за секундой мучительно длиннились от молчания.

Он искал во мне что-то глазами, как ищут в комнате свою забытую вещь. Я резко поднялся:

— Вечера суббот у вас — я замечал — всегда заняты. День к закату. Я пойду.

Жёсткие пальцы, охватив мой локоть, не дали подняться:

— Это правда: свои субботы я, то есть мы запираем от людей на ключ. Но сегодня я покажу вам её: субботу. Оставайтесь. Однако то, что будет вам показано, требует некоторых предварений. Пока мы одни — сконспектирую. Вам вряд ли известно, что в молодости я был выученником нищеты. Первые рукописи отнимали у меня последние медяки на оклейку их в бандероль и неизменно возвращались назад, в ящики стола, — трёпаные, замусленные и избитые штемпелями. Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов, в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка — в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв. Обычно печка была без дров, а я без пищи. Но к книгам я относился почти религиозно, как иные к образам: продавать их... даже мысль эта не приходила мне в голову, пока, пока... её не форсировала телеграмма: «Субботу мать скончалась. Присутствие необходимо. Приезжайте». Телеграмма напала на мои книги утром; к вечеру — полки были пусты, и я мог сунуть свою библиотеку, превращённую в три-четыре кредитных билета, в боковой карман. Смерть той, от которой твоя жизнь, — это очень серьёзно. Это всегда и всем: чёрным клином в жизнь. Отбив похоронные дни, я вернулся назад — сквозь тысячеверстье — к порогу своего нищего жилья. В день отъезда я был выключен из обстановки, — только теперь эффект пустых книжных полок доошутился и вошёл в мысль. Помню, раздевшись, я присел к столу

и повернул лицо к подвешенной на четырёх чёрных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, ещё не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате — как я уже сказал — только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет — ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по оголённым доскам полок. Казалось, какая-то еле осязаемая жизнь — робкими проступами — зарождалась там, в бескнижье.

Конечно, всё это была игра на перетянутых нервах — и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука — двигаясь автоматически — потянулась к книжным корешкам: вместо них — воздух, ещё и ещё. Я с досадой всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бескнижие, стараясь — напряжением памяти — увидеть нужную мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплёта дёргались из стороны в сторону: и вместо нужной строки получалась пёстрая россыпь слов, прямь строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст. Перед вечером, отдыхая от работы, я любил, вытянувшись на кровати, с увесистым томом Сервантеса в руках, прыгать глазами из эпизода в эпизод. Книги не было: я хорошо помню — она стояла в левом углу нижней полки, прижавшись своей чёрной кожей в жёлтых наугольниках к красному сафьяну кальдероновских «Аутос». Закрыв глаза, я попробовал представить её здесь рядом со мной — меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними — при помощи зажатых век и сконцентрированной воли). Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память обронила буквы — они спутались и выскользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: иные слова возвращались, другие нет: тогда я начал зарашивать пробелы, вставляя в межсловия свои слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза, комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы комнате и полкам.

У меня в то время было много досуга, — и я всё чаще и чаще стал повторять игру с пустотой моих обескнижевших полок. День вслед дню — они зарастали фантазмами, сделанными из букв. У меня не было ни денег, ни охоты ходить теперь за буквами к книжным ларям или в лавки букинистов. Я вынимал их — буквы, слова, фразы — целыми пригоршнями из себя: я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплёты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму, — заполняя покорную пустоту, вбиравшую внутрь своих чёрных деревянных досок всё, что я ей ни давал. И однажды, когда какой-то случайный гость, пришедший возратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к полке, я остановил его: «Занято».

Гость мой был такой же бедняк, как и я: он знал, что право на чудачество — единственное право полуголодных поэтов... Спокойно меня оглядев, он положил книгу на стол и спросил, согласен ли я выслушать его поэму.

Закрыв за ним и за поэмой дверь, я тотчас же постарался убрать книгу куда-нибудь подальше: вульгарные золотые буквы на вспучившемся корешке расстраивали только-только налаживавшуюся игру в замыслы.

По параллели я продолжал работу и над рукописями. Новая пачка их, посланная по старым адресам, к моему искреннейшему удивлению, не возвратилась: вещи были приняты и напечатаны. Оказывалось: то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски книги, было достигнуто при помощи трёх кубических метров воздуха. Теперь я знал, что делать: я снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж чёрных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила, превращал их в рукописи, рукописи — в деньги. И постепенно — год за годом — имя моё разбухало, денег было всё больше и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно: пустота их, я бы сказал, ещё более раздражалась, превращалась в обыкновенный воздух.

Теперь, как видите, и нищая комната моя разрослась в солидно обставленную квартиру. Рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой я снова забил книжным грузом, стали просторные остеклённые шкапы — вот эти. Инерция работала на меня: имя таскало мне новые и новые гонорары. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отомстит. В сущности, писатели — это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери — занесённый над ними бич. Или ещё точнее: слышали вы об изготовлении так называемых каракульча? У поставщиков этого типа своя терминология: выследив путем хитроумных приёмов узор и завитки на шкурке нерождённого ягнёнка, дождавшись нужного сочетания завитков, нерождённого убивают — прежде рождения: это называется у них «закрепить узор». Так и мы — с замыслами: промышленники и убийцы.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они требовали ещё и ещё. Пьянея от чернил, я готов был — какой угодно ценой — форсировать новые и новые темы. Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то я и решился искусственно возбудить её, прибегнув к старому испытанному средству. Я велел очистить одну из комнат квартиры... но пойдёмте, будет проще, если я это покажу.

Он поднялся. Я вслед. Мы прошли анфиладой комнат. Порог, ещё порог, коридор — он подвёл меня к запертой двери, скрытой портьерой (под цвет стены). Звонко щёлкнул ключ, потом — выключатель. Я увидел себя в квадратной комнате: в глубине, против порога, камин; у камина полукругом семь тяжёлых резных кресел; вдоль стен, обитых тёмным сукном, ряды чёрных, абсолютно пустых книжных полок. Чугунные щипцы, прислонившиеся ручкой к каминной решётке. И всё. По беззвучающему шагу безузорному ковру мы подошли к полукругу кресел. Хозяин сделал знак рукой:

— Присядьте. Вас удивляет, почему их семь? Вначале здесь стояло лишь одно кресло. Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок. Я просил у этих чёрных деревянных каверн тему. Терпеливо, каждый вечер, я записывался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблёскивая чёрным гляncем, мёртвые и чужие, они не хотели отвечать. И я, испрофессионализировавший себя дрессировщик слов, уходил назад к своей чернильнице. Как раз в это время близились сроки двум-трём литературным договорам: писать было не из чего.

О, как ненавистны казались мне в то время все эти люди, потрошащие разрезальными ножами свежую книжку журнала, окружившие десяткам тысяч глаз моё истёганное и загнанное имя. Вспомнился — сейчас вот — крохотный случай: улица, на обмёрзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для калош; и тотчас же мысль: а ведь — и моим буквам, и его — один путь: «под подошвы».

Да, я чувствовал и себя, и свою литературу затоптанными и обессмысленными, и, не помоги мне болезнь, здоровый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго выключила меня из писательства: бессознательное мое успело отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню — когда я, ещё физически слабый и полувключённый в мир, открыл — после долгого перерыва — дверь этой чёрной комнаты и, добравшись до этого вот кресла, ещё раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но — всё же, всё же — заговорила, — согласилась заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни! Вы понимаете, для меня это было такое... (Пальцы говорившего наткнулись на моё плечо — и тотчас же отдёрнулись.)

— Впрочем, мы с вами не располагаем временем для лирических излияний. Скоро сюда придут. Итак, назад к фактам. Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ, и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фантазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру — стали заполнять вот эти полки. Взгляните сюда — нет, правой, на средней полке, — вы ничего не видите, не правда ли, а вот я...

Я невольно отодвинулся: в острых зрачках говорившего дрожала жёсткая, сосредоточенная радость.

— Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильнице и вернуться назад в царство чистых, неовеществлённых, свободных замыслов. Иногда по старой вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки пробраться под карандаш: но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писательскими повадками. Слыхали ль вы о так называемых *Gardinetti di S. Francisco* — садах св. Франциска: в Италии мне не раз приходилось посещать их: крохотные цветники эти в одну-две грядки, метр на метр, за высокими и глухими стенами — почти во всех францисканских монастырях. Теперь, нарушая традиции св. Франциска, за серебряные сольди разрешают оглядеть их, и то лишь сквозь калитку, снаружи: прежде не разрешалось и этого — цветы могли здесь расти — по завещанию Франциска — не для других, а для себя: их нельзя было рвать и пересаживать за черту ограды; не принявшим пострига не разрешалось — ни ногой, ни даже взглядом касаться земли, отданной цветам: выключенным из всех касаний, защищённым от зрачков и ножниц, им дано было цвести и благоухать для себя.

И я решил — пусть это не кажется вам странным — насадить свой, защищённый молчанием и тайной, отъединённый сад, в котором бы всем замыслам, всем утончённейшим фантазмам и чудовищнейшим измыслам, вдали от глаз, можно бы было прорасти и цвести — для себя. Я ненавижу грубую кожуру плодов, тяжело обвисающих книзу и мучающих, иссушающих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном саду было вечное, непадающее и нерождающее сложноцветение смыслов и форм! Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей и чужие, не-мои мысли. Нет, в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями.

На минуту он замолчал и пристально разглядывал дубовые спинки кресел, которые, став в полукруг около говорившего, казалось, внимательно вслушиваются в его речь.

— Понемногу из мира пишущих и читающих — сюда, в безбуквие, стали сходиться избранныки. Сад замыслов не для всех. Нас мало и будет ещё меньше. Потому что бремя пустых полок тяжко. И всё же...

Я попробовал возражать:

— Но ведь вы отнимаете, как вы говорите, буквы не только у себя, но и у других. Я хочу напомнить о протянутых ладонях.

— Ну, это... знаете, Гёте как-то объяснял своему Эккерману, что Шекспир — непомерно разросшееся дерево, глушащее — двести лет кряду — рост всей английской литературы; а о самом Гёте — лет тридцать спустя — Берне писал: «Рак, чудовищно расплзшийся по телу немецкой литературы». И оба были правы: ведь если наши обуквления глушат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают даже замышлять. Читатель, я бы сказал, не успевает иметь замыслы, право на них отнято у него профессионалами слова, более сильными и опытными в этом деле: библиотеки раздавили читателю фантазию, профессиональное писание малой кучки пишущих забило и полки, и головы до отказа. Буквенные излишки надо истребить: на полках и в головах. Надо опростать от чужого хоть немного места для своего: право на замысел принадлежит всем; и профессионалу, и дилетанту. Я принесу вам восьмое кресло.

И, не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты.

Оставшись один, я ещё раз оглядел чёрный, с полками, подставленными под пустоту, глушащий шаги и слова изолятор. Недоумённое и настороженное чувство прибывало во мне, что ни миг: так себя чувствует, вероятно, подвергаемое вивисекции животное. «Зачем я ему или им, что нужно их замыслам от меня?» И я твердо решил тотчас же выяснить ситуацию. Но когда дверь раскрылась, на пороге уже было двое: хозяин и какой-то очкастый, с круглой, под рыжим ежом, головой: привалившись вялым, будто бескостным, телом на палку, он с порога разглядывал меня сквозь свои круглые стекла.

— Дяж, — представил хозяин.

Я назвал себя.

Вслед вошедшим на пороге появился третий: это был короткий сухой человечек с двигающимися желваками под иглами глаз, с сухой и узкой щелью рта, хозяин обернулся навстречу третьему:

— А, Гюд.

— Да, я, Зез.

Заметив недоумение в моих глазах, тот, кого называли Зез, весело рассмеялся:

— После нашей беседы вам нетрудно будет понять, что писательским именам здесь (выделил он последнее слово) делать нечего. Пусть остаются на титулблаттах: вместо них каждому члену братства дано по так называемому «бессмысленному слогу». Видите ли, был некий чрезвычайно учёный профессор Эббингауз, который, исследуя законы запоминания, прибежал к системе «бессмысленных слогов», как он их называл: то есть попросту он брал любую гласную и приставлял к ней, справа и слева, по согласной; из изготовленного таким образом ряда слогов отбрасывались те, в которых была хотя бы тень смысла: остальное — мнемологу Эббингаузу пригодилось для изучения процесса запоминания, нам же скорее для... ну, это не требует комментариев. Где же, однако, наши замыслители? Время бы.

Будто в ответ, в дверь постучали. Вошли двое: Хиц и Шог. Немного погодя в дверях появился, астматически дыша и отирая пот, ещё один: кличка его была Фэв. Оставалось пустым лишь одно кресло. Наконец, вошел и последний: это был человек с мягко очерченным профилем и крутым скосом лба.

— Вы запаздываете, Рар, — встретил его председатель. Тот поднял глаза, они глядели отрешённо и будто издалека.

II

С минуту длилось молчание. Все смотрели, как Шог, присев на корточки, разводил в камине огонь. Следя за медленными, будто проделывающими какой-то ритуал, движениями Шога, я успел разглядеть его: он был значительно моложе всех собравшихся; блики, заплывавшие вскоре на его лице, резко выщелили капризную линию его яркого рта и чутко вздрагивающее вздутие ноздрей. Когда дрова в камине, разыскрясь, засыпали, председатель, взяв в руки чугунные щипцы, ударил ими о каминные прутья:

— Внимание. Семьдесят третья суббота Клуба убийц букв открыта. — Затем, для тот же ритуал, он подошёл неспешными шагами к двери: дважды щёлкнуло. В протянутой руке Зеза сверкнула бородчатая сталь:

— Рар: ключ и слово. После паузы Рар заговорил:

— Мой замысел четырёхактен. Заглавие: «Actus morbi». Председатель насторожился:

— Виноват. Это пьеса?

— Да.

Брови Зеза нервно дёрнулись:

— Так и знал. Вы всегда, будто нарочно, нарушаете традиции клуба. Сценизировать — значит вульгаризировать. Если замысел проектируется на театр, значит, он бледен, недостаточно... оплодотворён. Вы всегда норовите выскользнуть сквозь замочную скважину — и наружу: от углей камина — к огням рампы. Остерегайтесь рампы! Впрочем, мы ваши слушатели.

Лицо человека, начавшего рассказ, не выражало смущения. Прерванный, он спокойно отслушал тираду и продолжал:

— Всемирно известный персонаж Шекспира, поднявший вопрос о том, так ли легко играть на душе, как на флейте, отбрасывает затем флейту, но душу оставляет. Мне. Всё-таки тут есть некое сходство: чтобы добиться у флейты предельно глубокого тона — нужно зажать ей все её отверстия, все её оконца в мир; чтобы вынуть из души её глубь, надо тоже, одно за другим, закрыть ей все окна, все

выходы в мир. Это и пробует сделать моя пьеса; и, следуя терминологии, выбранной Гамлетом, следовало бы сказать, что мой «Actus morbi» не в стольких-то актах, а в стольких-то позициях.

Теперь об изготовлении моих персонажей. В том же «Гамлете» есть один давно уже заинтересовавший меня двойной персонаж, напоминающий органическую клетку, разделившуюся на две не вполне отшнуровавшиеся, как называют это биологи, дочерние клетки. Я говорю о Гильденштерне и Розенкранце, существах, не представимых порознь, врозь друг от друга, являющихся — в сущности — одной ролью, расписанной по двум тетрадкам... и только. Процесс деления, начатый триста лет тому назад, я пробую протолкнуть дальше. Подражая провинциальному трагику, ломающему — эффекта ради — флейту Гамлета пополам, я беру, скажем, Гильденштерна и разламываю это полусущество ещё раз надвое: Гильден и Штерн — вот уже два персонажа. Имя Офелия и смысл, в нём сочтанный, я беру то в плане трагедии — Фелия, то в комедийном плане — Фея. Понимаете ли, ввивая в косы то венки из горькой руты, то бумажные папильотки, можно двоить и это.

Итак, для начала игры, для первой позиции пьесы, у нас уже четыре фишки: двигая ими по воображаемой сцене, как шахматист, играющий не глядя на доску, я получаю следующее...

На секунду Рар оборвал речь. Его длинные и белые, почти сквозистые пальцы, прощупывали что-то сквозь воздух, как бы испытывая лепкость материала.

— Как это говорят: «Сцена представляет...» ну, одним словом, молодой актёр Штерн заперся наедине со своей ролью. Роль угадывается и без монологов: на спинке кресла чёрный плащ; на столе — среди книжных ворохов и портретов эльсинорского принца — чёрный берет со сломанным пером. Тут же пиджак и подтяжки. Штерн, небритый, со следами бессонницы на лице, шевелит острием шпаги приопущенную занавеску окна.

— Мышь.

Стук в дверь. Продолжая фиксировать растревоженную шпагой занавеску, левой рукой снимает болт с двери. На пороге Фелия

Мы с вами видим её: миловидное личико с ямками, прыгающими на щеках, — существо, которое в пьесах всегда любят двое и от психологии которого требуется одно: из двух выбрать одного. Но Штерн не видит вошедшую и снова за своё:

— Мышь!

Фелия в испуге приподымает юбку. Диалог. Штерн (*не оборачиваясь на крик Фелии*). Напрасен крик. Молчи. И рук ломать не надо.

Гляди: сейчас твоё сломаю сердце.

Отдёргивает занавеску. На подоконнике, вместо Полония, примус и пара пустых бутылок.

Король из тряпок и лоскутьев,
Глупец, всю жизнь болтавший без умолку.
Пойдём. Ведь надобно ж с тобой покончить.

В дверях сталкивается с Фелей.

Фелия. Куда ты? Без пиджака на улицу. Проснись!

Штерн. Ты? О, Фелия, я... если бы ты знала...

Фелия. Я знаю свою роль назубок. А вот ты — смешной путаник. Брось свои ямбы — ведь мы не на сцене.

Штерн. Ты уверена в этом?

Фелия. Только, пожалуйста, не начни меня разуверять, Если бы тут были зрители, я бы не сделала вот так (*став на цыпочки, целует его*). Ну что, и это не разбудило?

— Милая.

— Наконец-то: первое слово не из роли.

Засим я перестаю вертеть любовную шарманку: вам важно знать, что сейчас

Фелия ближе к Штерну, чем к Гильдену, его сопернику и дублёру; что она хочет ему победы в борьбе за роль. Так или иначе, в обгон диалогу, удостоверяю: разворачиваясь, он придвигает фишку к фишке, Штерна к Феле. Отсюда ремарка: скобка, поцелуй, закрыть скобку, точка. На этот раз и для Штерна — не сквозь роль — а в полной яви. Вглядитесь. А теперь переведите взгляд чуть влево. Дверь, брошенная полуоткрытой, распаивается; на пороге — Гильден.

Гильден (*улыбаясь, в меру злобно*). Зрители излишни. Удаляюсь.

Но влюблённые, разумеется, удерживают Гильдена. Минута смущённого молчания.

Гильден (*перебирает разбросанные повсюду книги*). Роль, я вижу, не так податлива, как... (*взгляд в сторону Фелии*). «Шекспир». «О Шекспире». Гм, опять Шекспир. Кстати, сейчас в трамвае простец какой-то, заметив роль, торчащую у меня из кармана и желая сделать мне приятное, спросил: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно быть, и пьес-то этих самых...» — И смотрит на меня этак идиотически-любопытательно.

Фелия хохочет. Штерн остаётся серьёзен.

Штерн. Простец-то простец, но... что ты ему ответил?

Гильден. Ничего. Трамвай остановился. Мне надо было выходить.

Штерн. Видишь ли, Гильден, ещё недавно мне твой пустяк показался бы только смешным. Но после того, как вот уж третью неделю бьюсь над тем, чтоб засуществовать в несуществовании, ну как бы тебе сказать, чтобы вжиться в роль, у которой, скажете вы, нет своей жизни, я осторожно обращаюсь со всеми этими «быть» и «не быть». Ведь между ними только одно или. Всем дано выбирать. И иные уже выбрали: одни — борьбу за существование; другие — борьбу за несуществование; ведь линия рампы, как таможенная черта: чтоб переступить ее, чтоб получить право находиться там, по ту сторону её огней, надо уплатить кое-какую пошлину.

Гильден. Не понимаю.

Штерн. А между тем понять — это ещё не всё. Надо и решиться.

Фелия. И ты?..

Штерн. Да. Я решился.

Гильден. Чудак. Рассказать Таймеру — вот бы посмеялся. Хотя пока что наш патрон не проявляет особого веселья. Вчера, когда ты опять пропустил репетицию, он поднял целую бурю. Я затем и зашёл к тебе, чтобы предупредить, что если ты и сегодня будешь «несуществовать» на репетиции, то Таймер грозил...

Штерн. Знаю. Пусть. Мне не с чем, понимаешь, не с чем; точнее — не с кем идти на вашу репетицию. Пока роль не придёт ко мне, пока я её не увижу вот здесь, как вижу сейчас тебя, мне нечего делать на ваших сборищах.

Фелия умоляюще смотрит, но Штерн, точно провалившись в себя самого, не видит и не слышит.

Гильден. Но ведь должна же быть проверка извне: сначала глаза режиссёра, затем зрителя...

Штерн. Чепуха. Зрители: да если б их шубы, развешанные по номеркам, сняв с крючьев, рассадить по креслам, а зрителей развешать по гардеробным крючьям, — искусство б от этого не пострадало. Режиссёр, глаз режиссёра — так ты, кажется, сказал: я бы его выколол — из театра. К дьяволу! Актёру нужны глаза его персонажа. Только. Вот если б сейчас сам Гамлет пришёл сюда и, отыскав зрачками зрачки, сказал бы мне... знаете что, друзья, не сердитесь, но мне надо работать. Рано или поздно я дозовусь его, и тогда... Уходите.

Гильден. Однако, Фелия, он с нами заговорил действительно тоном принца. Только и остаётся — уйти. Тем более что через четверть часа начнётся.

Фелия. Штерн, милый, пойдём с нами.

Штерн. Оставьте меня. Прошу вас. И у меня сейчас... начнётся.

Штерн остаётся один. Некоторое время он сидит без движения, как вот я. Потом (Рар резким движением протянул руку к затенённой пустоте книжных полок: глаза слушающих повернулись туда)... потом... он берёт книгу — первую

попавшуюся. Конспектирую монолог.

Штерн. Итак, попробуем. Действие второе, сцена вторая: «Заговорю с ним опять». Ко мне: «Что вы читаете, принц?» Слова, слова, слова. О, если б дано было знать: какие слова были в той книге. Если б: ведь тут узел смыслов. «Но о чём они говорят?» — «С кем?»

В это время — вы замечаете ее? Там на пороге — беззвучно возникнув в сумерках вечеряющей комнаты — появляется Роль: она точно, но сквозь муть, как отражение в дешёвом зеркале, повторяет собой актёра. Штерн, сидящий спиной к дверям, не замечает Роли, пока она, подойдя к нему сзади, не прикоснулась рукой к плечу.

Роль. Послушайте, вы хотели узнать слова книги, которую я имею обыкновение вот уже триста двадцатый год кряду перелистывать во второй сцене второго акта? Что ж, слова эти можно бы вам, пожалуй, ссудить — разумеется, не даром.

Чёрный фантом успел уже бесшумно вдвинуться в пустое кресло против Штерна: с минуту актёр и Роль пристально всматриваются друг в друга.

Штерн. Нет. Это не то. Я представляю своего Гамлета иначе. Вы, простите меня, жухлый и линиялый. А я хочу не так.

Роль (*флегматически*). И тем не менее сыграете меня — именно так

Штерн (*мучительно оценивая своего двойника*). Но я не хочу, понимаете, не хочу быть, как вы.

Роль. Может, и я не хочу: быть, как вы. И наконец, я всего лишь вежлив: зовут — прихожу. Придя, спрашиваю: зачем?

Пальцы Рара обыскивали воздух, точно в нём кружила невидимкою реплика; казалось, они уже схватили ее, и вдруг разжались: Рар внимательно всматривался вслед выпорхнувшему слову.

— Вот тут-то я и попробую, замыслители, закрыть флейте её первый клапан. Об это зачем Штерну нужно удариться. Ему, актёру, то есть существу, профессионально говорящему чужие слова, пожалуй, и не найти своих, чтобы объяснить своему отражению себя — отражённого.

По-моему, тут все довольно просто: каждое трёхмерное существо дважды удвоет себя, отражаясь вовне и вовнутрь. Оба отражения неверны: холодное и плоское подобие, возвращаемое нам обыкновенно стеклянным зеркалом, неверно уже потому, что менее чем трёхмерно, распластано; другое отражение лица, отбрасываемое им внутрь, втекающее по центростремительным нервам в мозг, состоящее из сложного комплекса самоощущений, тоже неверно, потому что — более чем трёхмерно.

И вот — бедняга Штерн хотел объективировать, поднять со дна души к периферии, выманить игрой, зазвать в роль то, внутреннее подобие себя; на зов пришло другое отражение — стеклитое, мертвое, спрятанное под поверхностями, отражённое вовне. Он не хочет его, отрекается от назойливого фантома, и тем и создаёт ему объективность бытия вне себя. То, о чём говорю, существует и вне пьес; случилось и будет случаться. Да вот хотя бы Эрнесто Росси: в своих «Воспоминаниях» он рассказывает о посещении развалин Эльсинора. Приблизительно так: на некотором расстоянии от замка Росси останавливает экипаж и пешком к руинам. В сгущающихся сумерках ровным шагом приближается он к замку. Неумирающая история о датском принце овладевает им. Шагая навстречу чёрному силуэту моста, он — сначала про себя, потом всё громче и громче, припоминая первый акт «Гамлета», стал декламировать своё обращение к тени отца. И когда, постепенно втягиваясь в привычную роль, додекламиривал до реплики Тени и привычным же движением поднял голову, — он увидел её: выйдя из ворот, Тень, бесшумно близясь, шла к брошенному через ров мосту: реплика принадлежала ей. Далее Росси сообщает лишь, что, повернувшись спиной к партнёру, он опрометью бросился назад, отыскивал возницу и велел гнать лошадей что есть мочи. Итак, актёр бежал — в данном случае от пришедшей к нему роли. Но ведь он мог и остаться там, у моста: из мира в мир. И Штерну придётся остаться — для этого не нужно таланта: достаточно воли. Но давайте включим пьесу. Наш персонаж давно ждёт нас: я

слишком затянул ему паузу. Итак:

Штерн. Значит, меня увидят таким? Как вот ты?

Роль. Да.

Штерн (*в раздумье*). Так. Ещё вопрос: откуда ты? И ещё: откуда бы ты ни был, тебе придётся уйти. Я отказываюсь от роли.

Роль (*приподымаясь*). Как угодно.

Штерн (*шаг вслед*). Стой. Я боюсь: тебя могут видеть. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме меня... ты понимаешь.

Роль. Не торопитесь включать меня в пространство. Дело в том, что видеть меня... ну, скажем, необязательно. Мы существуем, но условно. Кто захочет — увидит, а не захочет... вообще это насилие и дурной вкус быть принудительно реальным. И если у вас, на земле, это ещё не вывелось, то...

Штерн. Постой, постой. Но ведь я хотел видеть другого..

Роль. Не знаю. Может быть, перепутали подорожные. При переходе из мира в мир это бывает. Сейчас у нас огромный спрос на Гамлетов. Гамлетбург почти опустел.

Штерн. Не понимаю.

Роль. Очень просто. Вы затребовали из архивов, а вам прислали из заготовочной.

Штерн. Но как же это... распутать?

Роль. Тоже — просто. Я провожу вас до Гамлетбурга, а там ищите, кого вам надо.

Штерн (*растерянно*). Но где это? И как туда пройти?

Роль. Где: в Стране Ролей. Есть и такая. А вот как, этого ни рассказать, ни показать нельзя. Думаю зрители извинят, если мы... за закрытым занавесом.

Рар спокойно оглядел нас всех:

— Роль, в сущности, права. С вашего разрешения даю занавес. Теперь дальше, позиция вторая: постарайтесь увидеть уходящую от глаза перспективу, ограниченную со всех сторон близко сдвинувшимися стенами и заострённую вверху жёсткими каркасами готических арок Поверхности этого фантастического туннеля сверху донизу в квадратных пёстрых бумажных пятнах, поверх которых разными шрифтами, на разных языках одно и то же слово: Гамлет — Гамлет — Гамлет. Внутри, под убегающими вглубь буквами разноязыких афиш, два ряда теряющихся вдалеке кресел. В креслах, завернувшись в чёрные плащи, длинной вереницей — Гамлеты. У каждого из них в руках книга. Все они склонились над её развёрнутыми листами, их бледные лица сосредоточены, глаза не отрываются от строк. То здесь, то там шуршит перелистываемая страница и слышится тихое, но немолкнушее:

— Слова, слова, слова.

— Слова — слова.

— Слова.

Я ещё раз приглашаю вас, замыслители, взглядеться в череду фантомов. Под чёрными беретами опечаленных принцев вы увидите тех, кто вводил вас в проблему Гамлета: в этот длинный и узкий — сквозь весь мир протянувшийся — глухой коридор. Я, например, сейчас ясно могу разглядеть — третье кресло слева — резкий профиль Сальвиниева Гамлета, сдвинувшего брови над ему лишь зримым текстом. Правее и дальше под складками чёрной тяжёлой ткани хрупкий контур, похожий на Сару Бернар: тяжёлый фолиант с отстёгнутыми бронзовыми застёжками оттянул тонкие слабые пальцы, но глаза цепко ухватились за знаки и смыслы, таимые в книге. Ближе, под красным пятном афиши, одутлое, в беспокойных складках лицо Росси, дряблеющая щека упёрлась в ладонь, локоть в резную ручку кресла; мускулы у сгиба колен напряглись, а у виска пульсирует артерия. И дальше, в глубине перспективы я вижу нежно очерченное лицо женственного Кемпбея, острые скулы и сжатый рот Кина и там, у края видения, запрокинутую назад, с надменной улыбкой на губах, с полузакрытыми глазами, то возникающую, то никнущую в дрожании бликов и теней, ироническую маску Ричарда Бэрбеджа. Мне трудно рассмотреть отсюда — это далеко, — но, кажется, он закрыл книгу: прочитанная от знака до знака, сомкнув листы, она неподвижно лежит на его коленях. Возвращаюсь взглядом

назад: иные лица затенены, другие отвернулись от меня. Да, возвращаюсь, кстати, и к действию.

Дверь в глубине, подымаясь створкой кверху, как занавес, выбрасывает резкий свет и две фигуры: впереди, с видом чичероне, шествует Роль. Вслед за ней робко озирающийся Штерн. Ноги его в чёрном трико: шнурки развязавшихся туфель болтаются из стороны в сторону; на плечах наскоро наброшенный короткополый пиджак Медленно — шаг за шагом — они проходят меж рядов погружённых в чтение Гамлетов.

Роль. Вам повезло. Мы попали как раз к нужной вам сцене. Выбирайте: от Шекспира до наших дней.

Штерн (*указывает на несколько пустых кресел*). А тут — почему не занято?

Роль. Это, видите ли, для предстоящих Гамлетов. Вот сыграй вы меня, и мне бы сыскалось местечко, — ну, не здесь, так где-нибудь там, сбоку, на табуретке, с краешка. А то мы какой конец отломали — из мира в мир, — и вот стой. Знаете, пойдём-ка из страны достижений в страну замыслов: там места сколько угодно.

Штерн. Нет. Искать надо здесь. Что это? (*Над дугами сводов — в вышине — проносятся плещущие звуки: стихли.*)

Роль. Это стая аплодисментов. Они залетают иногда и сюда: перелётными птицами — из мира в мир. Но мне здесь дольше нельзя: ещё хватятся в замыслительском. Шли бы со мной. Право.

Штерн (*отрицательно качает головой; его проводник уходит; один — среди слов, в словах. Жадно, как нищий сквозь стекло витрины, всматривается в ряды ролей. Шаг, другой. Колеблется. Глаза его, постепенно пробираясь сквозь полутьму, начинают различать застывшую в глубине великолепную фигуру Ричарда Бэрбеджа*). Этот.

Но тут один из Гамлетов, который, отложив книгу, давно уже вглядывался в пришельца, поднявшись с кресел, внезапно преграждает ему дорогу. Штерн в смятении, отступил, но Роль сама смущена и почти испугана: выступив из полутьмы в свет, она обнаруживает дыры и заплаты на своём неладно скроенном — с чужого плеча — плаще; на плохо пробритом лице Роли искательная улыбка.

Роль. Вы оттуда? (*Утвердительно кивок Штерна.*) Оно и видно. Нельзя ли осведомиться: почему меня больше не играют? Не слыхали? Всем, конечно, известно, что трагик Зам-тутырский отпетый пьяница и мерзавец. Но нельзя же так. Прежде всего — он меня не выучил. Вы представляете себе, как приятно быть невыученным: не то ты еси, не то не еси. В этой самой бытенебыти, в третьем акте, знаете, мы так запутались, что если бы не суфлёр... и вот после этого ни разу у рампы. Ни одного вызова: в бытие-с. Скажите на милость, что с Замтутырским, спился или ампула переменил: если вернётся, прошу вас, поставьте ему на вид. Нельзя же так: породил меня, ну и играй меня. А то... (*Штерн, отстраняя пародию, пробует пройти дальше, но та не унимается.*) Со своей стороны — если могу быть чем полезен...

Штерн. Я ишу книгу третьего акта. Я — за её смыслом.

— Так бы и сказали. Вот. Только не зачитайте. Замтутыр-ский, как и вы, на этой книге всю игру строил: меня ни в зуб, ну и ходит по сцене, и чуть что — в книгу. «Раз, — говорит, — Гамлету в третьем акте можно в книжку смотреть, то, почему нельзя во втором, или, там, в пятом; оттого — говорит и не мстит, что некогда: книжник, эрудит, занятой человек, интеллигент: читает, читает, оторваться не может: убить и то некогда». Так что, если любопытствуете, пожалуйста: перевод Полевого, издание Павленкова.

Штерн (*отстранив налипающую на него замтутыркинскую роль, направляется вглубь перспективы к гордому контуру Бэрбеджа. Стоит, не смея заговорить. Бэрбедж сначала не замечает, потом веки его медленно поднимаются*).

Бэрбедж. Зачем здесь это существо, отбрасывающее тень?

Штерн. Чтобы ты принял его к себе в тени.

Бэрбедж. Что ты хочешь сказать, пришлец?

Штерн. То, что я человек, позавидовавший своей тени: она умеет и умалиться и возвеличиться, а я всегда равен себе, один и тот же в одних и тех же — дюймах,

днях, мыслях. Мне давно уже не нужен свет солнц, я ушёл к светам рампы; и всю жизнь я ищу Страну Ролей; но она не хочет принять меня; ведь я всего лишь замыслитель и не умею свершать: буквы, спрятанные под застёжки твоей книги, о великий образ, для меня навсегда останутся непрочитанными.

Бэрбедж. Как знать. Я триста лет обитаю здесь, вдали от потухших рампы. Время достаточное, чтобы домыслить все мысли. И знаешь, лучше быть статистом там, на земле, чем премьером здесь, в мире отыгранных игр. Лучше быть тупым и ржавым клинком, чем драгоценными, но пустыми ножнами; и вообще лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно не быть: теперь я не стал бы размышлять над этой дилеммой. И если ты подлинно хочешь...

Штерн. Да, хочу!

Бэрбедж. Тогда обменяемся местами: отчего бы Роли не сыграть актера, играющего роли.

(Обмениваются плащами. Погружённые в чтение Гамлеты не замечают, как Бэрбедж, мгновенно вобрав в себя походку и движения Штерна, пряча лицо под надвинутым беретом, направляется к выходу).

Штерн. Буду ждать вас. *(Поворачивается к пустому креслу Бэрбеджа: на нём мерцающая металлическими застёжками книга.)* Он забыл книгу. Поздно: ушёл. *(Присев на край кресла, с любопытством оглядывает сомкнутые застёжки книги. Со всех сторон — снова шурианье страниц и тихое: «Слова-слова-слова».)* Буду ждать.

Теперь третья позиция: кулисы. У входа, примостившись на низкой скамеечке, Феля. На коленях её тетрадка. Зажав уши и мерно раскачиваясь, она учит роль:

Феля. Я шила в комнате моей, как вдруг

Вбегают...

Вбегают Гильден.

Гильден. Штерна нет?

Феля. Нет.

Гильден. Ты предупреди его: если он и сегодня пропустит репетицию, роль переходит ко мне.

Бэрбедж *(появившийся на пороге — за спиной говорящих; про себя)*. Роль перешла, это правда: но не от него и не к тебе.

Гильден уходит в боковую дверь. Фелия снова наклоняется над тетрадкой.

— Я шила в комнате моей, как вдруг

Вбегают Гамлет, плащ на нём разорван,

На голове нет шляпы, грязные чулки

Развязаны и спущены до пят;

Он бледен, как стена; колена гнутся;

Глаза блестят каким-то странным светом,

Как будто бы пришёл он из иного мира,

Чтоб рассказать об ужасах его. Таким...

Бэрбедж *(заканчивает)* ... «Таким явился он». Не так ли? Колена гнутся... ещё бы — пройти такую даль. Но рассказывать было бы слишком долго.

Фелия *(с изумлением глядя в пришельца)*. Как ты хорошо вошёл в роль, милый.

Бэрбедж. Ваш милый вошёл в другое.

Фелия. У тебя хотели её отнять: я отправила вчера письмо. Оно получено!

Бэрбедж. Боюсь, что туда не доходят письма. И притом как отнять роль у отнятого актёра?

Фелия. Ты говоришь странно.

— «Это странно

как странника прими в своё жилище».

Вошедшие Таймер, Гильден и несколько актёров прерывают диалог.

Режиссёр Таймер, не будем придумывать ему наружность, пусть он будет похож, ну хотя бы на меня: желающих просят осмотреть, — улыбнулся Рар, оглядывая слушающих.

Кроме меня одного, никто, кажется, не возвратил ему улыбки: замыслители, сомкнув молчаливый круг, ничем и никак не выразили своего отношения к рассказу.

— Таймер видится мне экспериментатором, упрямым вычислителем, придерживающимся методов подстановки: люди, подставляемые им в его постановочные схемы, нужны ему, как математику нужны цифры: когда пришла очередь той или иной цифре, он вписывает её; когда очередь цифры отошла, он перечёркивает отслуживший знак. Сейчас, увидев того, кого он принимает за Штерна, Таймер не удивлён и даже рассержен:

Таймер. Ага. Пришли. А роль ушла. Поздно: Гамлета играет Гильден.

Бэрбедж. Вы ошибаетесь: ушёл актер, а не роль: к услугам вашим.

Таймер. Не узнаю вас, Штерн: вы всегда, казалось, избегали играть — в том числе и словами. Что ж. Два актёра на одну роль? Идёт. Внимание: беру роль и разрываю её надвое. Это нетрудно — надо лишь угадать линию разрыва. Ведь Гамлет, в сущности, это схватка да с нет: они-то и будут у нас центрозомами, разрывающими клетку на две новых клетки. Итак, попробуем: подать два плаща — чёрный и белый. (*Быстро размечает тетрадки с ролями: одну, вместе с белым плащом, передаёт Бэрбеджу; другую, вместе с чёрным, Гильдену*) Акт третий, сцена первая. Приготовьтесь. Раз, два, три: занавес пошёл.

Гамлет I (*белый плащ*). Быть?

Гамлет II (*чёрный плащ*). Или не быть? Вот в чём вопрос.

Гамлет I. Что лучше?

Гамлет II. Что благороднее?

Гамлет I. Сносить и гром и стрелы

Враждующей судьбы. О нет.

Гамлет II. Или восстать

На море бед и кончить всё борьбою!

Гамлет I. Окончить жизнь.

Гамлет II. Нет, лишь уснуть.

Гамлет I. Не более?

Гамлет II. Да, и знать, что этот сон

Окончит всё. И тысячи ударов.»

Гамлет I. Но ведь удел живых...

Гамлет II. Такой конец достоин

Желаний жарких.

Гамлет I. Умереть?

Гамлет II. Уснуть.

Гамлет I. Но если сон виденья посетят?

Что за мечты на смертный сон слетят,

Когда стяхнем мы суету земную?

Гамлет II. Да, это заграждает дальний путь

И делает страданье долговечным.

Кто снёс бы бич и посмеянье века

Бессилье прав, тиранов притеснения,

Обиды гордого, забытую любовь...

Гамлет I. Презренных душ презрение к заслугам».

Гамлет II. Да, если б мог нас подарить покоем

Один удар.

И только страх чего, то после смерти, —

Страна безвестная, откуда путник

Не возвращался к нам —

Гамлет I. — Неправда, возвратился!

Все с удивлением смотрят на Бэрбеджа, оборвавшего монолог, начавший было расщепляться в диалоге. Таймер. Это не из роли.

Бэрбедж. Да, — это из Царства Ролей. (*Он принял свою прежнюю позу: над белым, как саван, плащом надменно запрокинута мелово-белая маска: глаза закрыты; на губах улыбка гаера*). Это было лет триста тому. Вилли играл Тень, я —

принца. С утра лил дождь, и партер был весь в лужах. Но народу всё же было много. К концу сцены, когда я задекламировал о «мире, вышедшем из колеи», в публике поймали воришку, вытащившего чужие пенсы из кармана. Я кончил акт под чавканье задвигавшихся ног по лужам и глухое: вор-вор-вор. Беднягу тотчас же, как это у нас водилось, вытащили на помост сцены и привязали к столбу. Во втором акте воришка был смущён и отворачивал лицо от протянутых к нему пальцев. Но сцена за сценой — вор освоился и, чувствуя себя почти включённым в игру, наглея и наглея, стал кривляться, отпускать замечания и советы, пока мы, отвязав его от столба, не сошвырнули прочь со сцены. (*Вдруг повернувшись к Таймеру.*) Не знаю, что или кто привязал тебя к игре. Но если ты думаешь, что твои краденые мыслишки — ценой по пенсу штука — могут сделать меня богаче, меня, для которого писаны вот эти догрелли, — получиай свои медяки и прочь из игры.

Швыряет Таймеру роль в лицо. Смятение.

Фелия. Опомнись, Штерн!

Бэрбедж. Мое имя Ричард Бэрбедж. И я развязываю тебя, воришка. Прочь из Царства Ролей!

Таймер (*бледный, но спокойный*). Спасибо: воспользуюсь развязанными руками, чтобы... да свяжите же его: видите — он сошёл с ума.

Бэрбедж. Да, я снизошел к вам, люди, с того, что превыше всех ваших умов, — и вы не приняли...

На Бэрбеджа бросаются, пробуя связать. Тогда он, в судороге борьбы, кричит, понимаете ли, кричит им всем... вот тут, я сейчас...

И бормоча какие-то неясные слова, рассказчик быстро сунул руки в карман: что-то зашуршало под чёрным бортом его сюртука. И тотчас же он оборвал слова, расширенными зрачками оглядывая слушателей. Беспокойно вытянулись шеи. Задвигались стулья. Председатель, вскочив с места, властным жестом прекратил шум:

— Рар, — зачеканил он. — Вы пронесли сюда буквы? Тая их от нас? Дайте рукопись. Немедленно.

Казалось, Рар колеблется. Затем, среди общего молчания, кисть его руки вынырнула из-под сюртучного борта: в её пальцах, чуть вздрагивая, белела вчетверо сложенная тетрадь. Председатель, схватив рукопись, с минуту скользил глазами по знакам: он держал её почти брезгливо, за края, точно боялся грязнить себя прикосновением к чернильным строкам. Затем Зез повернулся к камину: он почти догорел, и только несколько углей, медленно лиловея, продолжали пламенеть поверх решётки.

— Согласно пункту пять устава предаётся рукопись смерти: без пролития чернил. Возражения?

Никто не пошевелился.

Коротким швырком председатель бросил тетрадь на угли. Точно живая, мучительно выгибаясь белыми листами, она тихо и тонко засычала; просинела спираль дымка; вдруг — снизу рвануло пламенем, и — тремя минутами позже председатель Зез, распепелив дробными ударами каминных щипцов то, что так недавно ещё было пьесой, отставил щипцы, повернулся к рассказчику и процедил:

— Дальше.

Лицо Рара не сразу вернулось в привычное выражение; видно было, что ему трудно владеть собой, — и всё же он заговорил снова:

— Вы поступили со мной, как мои персонажи с Бэрбеджем. Что ж — поделом: и ему, и мне. Продолжаю: то есть поскольку слов, которые я хотел прочесть, уже нельзя прочесть (он бросил быстрый взгляд на каминную решётку: последние угли отыскивались и отлевали), опускаю конец сцены. Всем ясно, что испуганная происшедшим она пьесы, Фелия, переходит вместе с ролью — к Гильдену. Четвёртая и последняя позиция заставляет нас вернуться к Штерну.

Оставшись в Царстве Ролей, он ждёт возвращения Бэрбеджа. Нетерпение — от мига к мигу — возрастает. Там, на земле, может быть, уже идёт спектакль, в котором гениальная роль играет за него себя самое. Над стрельчатыми сводами проносится

шумная стая аплодисментов:

— Мне?

В волнении Штерн пробует обратиться к окружающим его углубившимся в свои книги Гамлетам. Его мучают вопросы: наклонившись к соседу, спрашивает:

— Вы должны понять меня. Ведь вы знаете, что такое слава. В ответ:

— Слова — слова — слова... И спрошенный, закрыв книгу, удаляется. Штерн к другому:

— Я чужой всем. Но вы научите меня быть всеми. И другой Гамлет, сурово взглянув, закрывает книгу:

— Слова — слова. К третьему:

— Там на земле я оставил девушку, которая меня любит. Она говорила мне...

— Слова.

И с каждым вопросом, как бы в ответ, Гамлеты поднимаются и, закрыв свои книги, один вслед за другим, — удаляются.

— А если Бэрбедж... Вдруг он не захочет вернуться. Как тогда найти путь: туда, назад? И вы, зачем вы покидаете меня? Все забыли: может, и она, как все. Но ведь она клялась...

И снова.

— Слова — слова.

— Нет, не слова: слова сожжены; по ним — я видел — били каменными щипцами — слышите?!

Рар провел рукою по лбу:

— Простите — спуталось; зубья за зубья. Это иной раз бывает. Разрешите с купюрами.

Итак, черед Гамлетов покинула Штерна; вслед им ползут и пёстрые пятна афиш; даже буквы на них, выпрыгивая из строк, устремляются прочь. Фантастическая перспектива Царства Ролей с каждым мигом меняет свой вид. Но у Штерна осталась в руках книга, забытая Бэрбеджем. Теперь уже медлить незачем: настало время взять смысл силой, вскрыть тайну. Но книга на крепких металлических застёжках. Штерн пробует разогнуть ей переплет. Книга сопротивляется, плотно сжимая листы. В припадке гнева Штерн, кровавая пальцы, все-таки выламывает тайник со словами. На разжатых страницах:

— Actus morbi. История болезни. Большой номер. Так. Шизофрения. Развитие нормальное. Припадок. Температура. Повторный. Бредовая идея: какой-то Бэрбедж. Желудок нормальный. Процесс принимает затяжную форму. Неизлеч.

Штерн подымает глаза: сводчатый длинный больничный коридор. Вдоль ряда перенумерованных дверей справа и слева кресла для дежурных по палате и посетителей. В глубине коридора погружённый в книгу, закутанный в белый балахон санитар. Он не замечает, что дверь в глубине перспективы раскрывается, и поспешно входят двое: мужчина и женщина. Мужчина обернулся к спутнице:

— Как бы он ни был плох, но надо было мне дать хотя бы разгримироваться и сбросить костюм.

Оглянувшийся на голоса санитар изумлён: на посетителях под сброшенным ими верхним платьем театральные костюмы Гамлета и Офелии.

— Ну вот видишь: я так и знал, что на нас вытаращатся. К чему была эта горячка?

— Милый, но вдруг бы мы не успели. Ведь если он меня не простит...

— Причуды.

Санитар совершенно растерян. Но Штерн, с просветлённым лицом, подымается навстречу пришедшим:

— Бэрбедж, наконец-то. И ты, единственная! О, как я ждал тебя и тебя. И я смел подозревать: Бэрбедж, я думал, ты украл у меня и её, и роль, я хотел отнять у тебя твои слова: они отместили за себя, назвав меня безумцем. Но ведь это только слова, слова, роли, — если нужно играть безумца, хорошо, пусть, — я буду играть. Только зачем вдруг переменили декорацию: это из какой-то другой пьесы. Но ничего: мы пойдём из ролей в роли, чередую пьес, всё дальше и дальше, вглубь безграничного Царства Ролей. А почему на тебе нет венка, Офелия? Ведь для сцены

сумасшествия тебе нужен майоран и рута. Где они?

— Я сняла, Штерн.

— Да? А может быть, ты утонула и не знаешь, что тебя уж нет, и твой веночек плавает сейчас по зыбям меж тростника и лилий, и никто не слышит, как...

— На этом я, пожалуй, оборву. Без излишних росчерков. — Рар поднялся.

— Но позвольте, — надвинулись на отговорившего круглые очки Дяжа, — что же, он умирает или нет? И после мне неясно...

— Мало ли что вам неясно. Я зажал флейте все её прорези. Все. О дальнейшем флейтист не спросит: он должен знать сам. И вообще после каждого основного остаётся некое остальное. В этом пункте я не расхожусь с Гамлетом: «Остальное — молчание». Занавес.

Рар подошёл к двери, повернул ключ дважды влево и, поклонившись с порога, исчез. Замыслители расходились молча. Хозяин, задержав мою руку в своей, извинился в том, что досадная непредвиденность испортила вечер, и напомнил о следующей субботе.

Выйдя на улицу, я увидел далеко впереди спину Рара: тотчас же он исчез в одном из переулков. Я быстро шел — от перекрёстка к перекрёстку, стараясь распутать свои ощущения. Мне казалось, вечер этот чёрным клином вогнан мне в жизнь. Надо выклинить. Но как?

III

В следующую субботу, к сумеркам, я снова был в Клубе убийц букв. Когда я вошёл, все уже были в сборе. Я отыскал глазами Рара: он сидел на том же месте, что и прошлый раз; лицо его казалось чуть заострённым; глаза глубже ушли в орбиты.

На этот раз ключ и слово принадлежали Тюду. Получив их, Тюд внимательно осмотрел стальную бородку ключа, точно ища в её расщепе темы, затем, переведя внимание на слова, стал осторожно вынимать их одно за другим, столь же тщательно их осматривая и взвешивая. Вначале медленные, слова пошли всё скорей и скорей, почти в обгон друг другу; на острых, шевелящихся скулах рассказчика проступили пятна румянца. Все лица повернулись к рассказчику.

— Ослиный праздник. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок — пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые *Festa asinorum*: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя — для вящей назидательности — события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян осла, который должен был напомнить о том прославленном евангелиями животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей провиденциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включённый — странным образом — в мессу, не проявлял ничего, кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кощунств, исполнился буйства и разгула: окружённый толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осёл кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади ревела толпа, распевая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кадила, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались, и богохульствовали, и гоготали, когда возвеличенный осёл со страху гадил на плиты алтаря. После все это

обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового азинария.

Полотно загрунтовано. Дальше.

Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко. Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписанных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг её нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая её, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжжённая перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.

Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в притворе, с бьющимися сердцами ждали; старый священник медленно взошёл по ступенькам амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные — сквозь ладан и солнце — друг вслед другу.

Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст — лишь две-три нищенки у входа — и снова дряхлый о. Паулин, скрипя крутыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочитал имена: Пьер — Франсуаза.

Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот-то день — нежданно и буйно — прихлынул праздник осла. Идя к церкви, Франсуаза ещё издали услышала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажжённое на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человеческими голосами ослиный праздник. Франсуаза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать — его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывать ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевёл взгляд на стоявшую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошёл к раскрытым дверям храма: жених и невеста — позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил её: рёв сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки её сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметённые кверху руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толчками ступеней взносимое кверху, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг всё смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл требник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.

— Оглашение третье. Во имя Отца и... — глухое гуденье, как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но чётким голосом священника, — сочетается браком раба Божия Франсуаза...

— И я.

— И я. И я.

— И я. — И я. — И я, — заревела толпа множеством глоток. Котёл сбросил крышку. И содержимое его, клокоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:

— И я. — И я.

И даже осёл, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:

— И-и-и я-а-а!

Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около неё, стараясь вернуть ей сознание.

А затем всё пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле — это только её начало.

Несколько месяцев кряду молодожёны жили душа в душу, тело к телу. Днём их разлучала работа, ночи возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру, были сходны.

Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу — она спала чутче — разбудил внезапный шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далёкий, постепенно рос и близился; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; ещё минута — и можно было различить отдельные впереводку кричащие голоса, другая — и стала слышима проступь слов: «и я — и я»... Франсуаза, вдруг заглодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, прикинула ухом к дверной доске: да — это был он — ослиный праздник — Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, впереводку, моля и требуя, повторяли своё: и я — и я. Мириады буйных ослиных свадеб кружили вокруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я...

Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил её: вдруг проснётся и узнает: всё. В чём было это мучающее и греховное всё, она ещё не отдавала себе отчета — тяжёлая щеколда поддалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу празднеству осла. И тотчас же всё вокруг неё смолкло, но не в ней. Она шла — босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподдалёку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец, выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды — ночной жених безымянен, — в тёмную ночь он берёт то, что темнее всех ночей: выкрав душу, как тать, придя, как тать, и изникает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провозая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, нескоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал весёлое коленце.

И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День — ночь — день. Пока опять не накатило это. Франсуаза клялась не поддаваться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты перед чёрными ликами икон; много молитв её откружило по чёткам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вокруг неё, всё теснее и теснее смыкая круг, неистовый праздник осла, она, снова теряя волю, встала и шла — не зная, куда и к кому. На чёрном ночном перекрёстке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он всё же жадно взял — и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, — скользя вдоль стены — ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвучно плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж ещё крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная голосами, Франсуаза переступила

порог в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим жёлтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута — жёлтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблкое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, — обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно глядяваясь в дрожь губ и в задёрнутые тусклой

плёнкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуза услышала:

— Вернись в дом. Оденься пристойно и жди.

Старый священник шёл не спеша, дробным шаркающим шагом, то и дело останавливаясь и переводя трудное дыхание. Войдя в дом женщины, он увидел её неподвижно сидящей на скамье у стены: руки женщины были ладонью в ладонь, и только изредка плечи её под тканью одежды вздрагивали, будто от холода. О. Паулин дал ей отплакаться и тогда лишь сказал:

— Покорись, душа, возжегшему тебя. Писанием и Пророками предречено: только на осле, несмысленной и смердящей скотине, можно достигнуть стогов Иерусалима. Говорю тебе: только так и через это входят в Царствие Царств.

Молодая женщина с изумлением подняла полные слёз глаза.

— Да, настало время и тебе, дитя, узнать то, что дано знать не всем: тайну осла. Цветы цветут так чисто и благоуханно оттого, что корни их унавожены, в грязи и смраде. От малой молитвы к великому молению — только через богохульство. Самому чистому и самому высокому, хоть на миг, должно загрязниться и пасть: потому что иначе как узнать, что чистое чисто и высокое высоко. Если Бог, пусть раз в вечность, принял плоть и закон человеческий, то и человеку можно ли гнушаться закона и плоти осла? Только надругавшись и оскорбив любимейшее из любимого, нужнейшее из нужного сердцу, можно стать достойным его, потому что здесь, на земле, нет путей бескорбия.

Старик поднялся и стал зажигать свой фонарь:

— Наша церковь раскрыла храмы празднеству осла: она сама хочет, чтобы над нею, невестою Христовой, посмеялись и надругались: потому что ей ведома великая тайна. Но в празднество, в радость, с веселием и смехом входят все, — дальше идут лишь избранные. Истинно говорю тебе: нет путей бескорбия.

Наладив огонь, старик повернулся к порогу. Припав губами к сухим костяшкам его руки, женщина спросила:

— Значит — молчать?

— Да, дитя. Потому что — как раскрыть тайну осла... ослам?

Улыбнувшись, как тогда, в день третьего оглашения, о. Паулин вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

Тюд замолчал и, постукивая сталью ключа о ручку кресла, сидел с лицом, повёрнутым к порогу.

— Допустим, что так, — оборвал паузу председатель Зез, — кладка замысла в каких-нибудь десятках кирпичей. Мы привыкли обходиться без цемента. Поэтому, поскольку времени у нас ещё достаточно, не согласились ли бы вы сложить элементы новеллы в каком-нибудь ином порядке. Ну, скажем, первый кирпич — эпоха пусть лежит, где лежала; в центр действия давайте не женщину, а священника; затем придайте центральному действователю значимости за счёт значимостей элемента «ослиный праздник»: его можно оторвать, так сказать, от корешков, взяв одни вершки, — и затем...

— И затем, — подхватил толстый Фэв, насмешливо шурясь на рассказчика, — кончить всё не в жизнь, а в смерть.

— Просил бы подновить и заглавие, — подхихикнул из угла Хиц.

Желваки под пятнами румянца, расползавшимися по всему лицу Тюда, задёргались и напряглись; он наклонился вперёд, точно готовясь к прыжку; вся фигура его — короткая и сухая, подвижная и чёткая — напоминала в чём-то краткость, динамичность и чёткость новелл, среди которых он, очевидно, жил. Внезапно встав, Тюд зашагал вдоль чёрных полок и столь же внезапно, сделав крутой поворот на каблуках, повернулся к кругу из шести:

— Идёт. Начинаю. Заглавие: Мешок голиарда. Уже оно одно позволяет мне остаться в той же эпохе. Голиарды, или «весёлые клирики», как их тогда называли, были — думаю, всем вам это известно — странствующими попами, заблудившимися, так сказать, между церковью и балаганом. Причины появления этой странной помеси шута с капелланом до сих пор не исследованы и не объяснены: вероятнее всего, это были священники из захудалых приходов; поскольку ряса не

кормила их или кормила вполонину, приходилось прирабатывать чем ни попало: и, главным образом, не требующим включения в цех ремеслом балаганного лицедея. Герой моего рассказа, о. Франсуаз (разрешите и с именами поступить так, как и со всем остальным, то есть переместить их), был одним из таких. В высоких сапогах из дублёной кожи, с крепким посохом в руке, он мерил пыльные извивы просёлочных дорог, от жилья к жилью, меняя псалмы на песни, галльские прибаутки на учёную латынь, звон анжелюса на звяканье бубенцов дурацкой шапки. В дорожном мешке его, стянутом верёвочным узлом за его спиной, лежали рядком, как муж с женой, аккуратно сложенные и прижатые друг к другу гаерский плащ из пёстрых лоскутьев, обшитый побрякушками, и чёрная, протёршаяся у швов сутана. Сбоку на ремне болталась фляга с вином, вокруг правой кисти в три обмота чернели бусины чётков. О. Франсуаз был человек весёлого нрава; в дождь и зной он шёл среди колосющихся ли полей, по занесённым ли снегом дорогам, насвистывая простые песенки и изредка наклоняясь к фляге, чтобы поцеловать её — как он любил это называть — в стеклянные губы; никто не видел, чтобы о. Франсуаз целовался с кем-нибудь другим.

Мой странствующий голиард был человеком весьма небеспольным: нужно отслужить требу — развяжет мешок, застегнётся в узкую тёмную сутану, размотает чётки, порывшись на дне мешка, вынет крест и, строго сведя брови, свяжет или разрешит; нужно сладить весёлую праздничную забаву — сыграть интермедии или выучить роль дьявола, слишком путаную и трудную для любителей из какого-нибудь цеха, — и пёстрый — из того же мешка, в бубенцах и блёстках, — шутовской плащ привычно обматывается вокруг широких плеч о. Франсуаза: тут уж трудно было сыскать ловкача, который умел бы лучше насмешить до слёз и придумать столько прибауток, как умел это делать голиард Франсуаз.

Никто не знал о нём, стар он или молод: бритое лицо его было всегда под бронзой загара, а голая кожа на макушке могла быть и лысиной, и тонзурой. Иной раз девушки, насмеявшись до слёз во время интермедии или наплакавшись до улыбки во время мессы, как-то по-особенному пристально глядели на Франсуаза, но голиард был странником: отслужив и отыграв, он складывал рясу и плащ с бубенцами, стягивал узлы мешку и шёл дальше; руки его сжимали лишь дорожный посох, губы касались лишь стеклянных губ. Правда, шагая полем, он любил пересвистываться с пролетающими птицами, но птицы ведь тоже странники и, для того чтобы говорить с людьми, им хватило б одного слова: «мимо». Тут же, в полях, среди ветра и птиц, голиард любил иногда побеседовать со своим дорожным мешком: он развязывал ему замундштученный верёвкой рот и, вытащив на солнце пёстрое и чёрное, болтал, например, такое:

— *Suum cuique, amici mei*: помните это, черныш и пеструха. И в сущности, будь на земле пёстрые мессы и чёрный смех, — вам пришлось бы поменяться местами, друзья. Ну, а пока — ты нюхай ладан, а ты наряжайся в винные пятна.

И, выколотив из чёрного и пёстрого пыль, голиард прятал их снова в мешок и, поднявшись, шёл по извивам дорог, пересвистываясь с перепелами.

Однажды к вечеру, пыльный и усталый, о. Франсуаз дошагал до огней деревушки. Это было небольшое селение в сорок — пятьдесят дворов, посредине церковь; вокруг зелёные квадраты виноградников. Уже у околицы встретился человек, разменявшийся с путником расспросами: кто — откуда — зачем — куда И не успел о. Франсуаз присесть под вывеской «Туз кроет всё», как его позвали к умирающему. Наскоро хватив стакан и другой, голиард сунул руки в рукава рясы и, застёгивая на пути крючки, поспешил к душе, ждущей отходных молитв.

Дав душе отпущение, он вернулся назад, к недопитой фляге. За это время весть о пришельце успела побывать во всех сорока дворах, и несколько пожилых крестьян, ожидавших его в «Туже, кроющем всё», попросили пришельца завтра, — день предстоял ярмарочный, — позабавить и здешних и пришлых чем-нибудь повеселей и покруче. Звякнули стаканами о стаканах — и голиард сказал: хорошо.

Уже поздно ночью, разыскивая в деревне ночлег, голиард наткнулся на человека, идущего с фонарём в руках: жёлтый глаз скользнул по его лицу; сквозь слепящий свет голиард увидел сначала крепкую широкопалую руку, охватившую ручку фонаря, а затем и широкое, сверкнувшее зубами и улыбкой лицо молодого

парня.

— Не встречался вам о. Франсуаз? — спросил тот. — Я его ищу.

— Что ж, давай искать вместе. Зеркало при тебе?

— А зачем зеркало?

— Ну как же: без зеркала мне о. Франсуаза никак не увидеть. Как тебя зовут?

— Пьер.

— А твою невесту?

— Паулина. Почём вы знаете, что у меня невеста?

— Хорошо. Завтра перед анжелосом. Если вам нужно прилепиться друг к другу и стать плотью единой, лучшего клея, чем у меня в мешке, не найти. Спокойной ночи.

И, дунув опешившему парню в фонарь, голиард оставил его, объятого тьмой и изумлением.

С утра о. Франсуаз истово принялся за работу: сначала кропил освящённой водой больных младенцев и бормотал очистительные молитвы у ложа родильницы, затем, быстро переодевшись в пестрядь шута, аккуратно уложил свои дорожную и священническую одежды в мешок и, оставив его на попечении трактирного слуги, широкогоротого и долговязого парня, пошёл на рыночную площадь потешать съехавшихся из соседних деревень крестьян. Песня вслед песне, прибаутка к прибаутке: время шло, а поселяне никак не могли насмеяться досыта и не отпускали забавника. Вдруг на колокольне зазвенел анжелос; крестьяне сняли шапки, а о. Франсуаз, подобрав звякающий бубенцами плащ, бросился почти бегом назад, к трактиру, спеша переодеться и не упустить свадьбы.

В дверях «Туза» его встретил растерянный слуга: в руках у него голиард увидел свой мешок, но странно отошавший, с слипшимися боками.

— Сударь, — промямлил долговязый, развесив свой глупый рот, — мне тоже хотелось послушать вас; а тем временем мешок-то и выпотрошили. Кто бы мог думать.

Голиард сунул руку в мешок:

— Пуст, пуст! — закричал он в отчаянии. — Пуст, как твоя голова, разиня. Как же мне служить сейчас свадьбу, когда у меня не осталось ничего, кроме моей латыни.

На простецком лице трактирного слуги трудно было найти ответ. Сунув мешок под мышку, о. Франсуаз, звеня бубенцами, как был, бросился к церкви. По дороге он ещё раз обыскал пустоту в своём мешке: у дна его пальцы наткнулись на крест, оставленный вором: быстро надев его поверх дурацкого балахона, о. Франсуаз размотал чётки на своей руке и, вбежав в церковь, начал:

— *In nomine...*

— *Cum spiritu Tuo*, — подхватил было церковный служка и вдруг, выпучив глаза, в испуге устался на подымающемся по ступеням алтаря шута. Произошло общее смятение: дружки попятились к дверям, старуха крестьянка уронила горящую свечу, невеста, закрыв лицо, заплакала от обиды и страха; а дюжий жених вместе с двумя-тремя парнями выволокли нечестивца из храма и, избив, бросили его недалеко от паперти.

Ночная прохлада привела голиарда в чувство. Приподнявшись с земли, о. Франсуаз сначала ощупал свои ссадины и синяки, затем ещё раз мешок, брошенный рядом с ним; в нём не было ничего, кроме пустоты, но и её он тщательно завязал в два узла, привычным движением закинул за плечо и, отыскав в траве свой посох, покинул спящую деревню. Он шёл сквозь ночь, звеня медными бубенчиками. К утру он встретил в поле людей, которые, увидав его шутовской наряд, испуганно свернули с дороги, дивясь пёстрому призраку, которому место не на чёрных бороздах полей, а на скрипучем балаганном помосте. Дойдя до ближайшей деревни, голиард решил обогнуть стороной: идя задами дворов и огородов, он старался ступать возможно тише, чтобы не привлечь звяканьем бубенцов чьих-либо глаз. Но облезлый пёс, выскочивший ему навстречу, завидев движущуюся пестрядь, отчаянно залаял; на лай вышли люди, и вскоре за шутком, идущим среди полей, потянулася вереница мальчишек, свистящих и гикающих вслед.

Крестьянин, занятый починкой изгороди, не ответил на приветствие балаганного призрака, а женщины, пересекшие путь с кувшинами воды на плечах, не улыбнулись весёлой гримасе, пропустив глаза, прошли мимо: сегодня был рабочий, трудный день, — занятым и трезвым людям некогда и ни к чему был смех; они отшутили свои шутки, попрятали праздничные одежды на дно своих сундуков, оделись в будничное рабочее платье и начинали долгую, в шесть одинаких серолицых дней, трудовую череду. Непонятый пришелец был праздником, заблудившимся среди буден, нелепой ошибкой, путающей им их нехитрый календарь: глаза отдёргивались от голиарда, он видел либо презрительные улыбки, либо равнодушные спины. И он понял, как одинок и бесприютен смех, серафически чистый, шитый из слепяще-пёстрых лоскутов, тонкими нитями в острых иглах. Он мог бы подняться до самого солнца, но не взлетал и выше насестей: душа орла, а крылья одомашненной клохчущей курицы; все улыбки сосчитаны и заперты в праздник, как в клетку. Ну нет. Прочь! Голиард, торопя шаги, уже шёл по той тропе — что по земле от земли: но земля, тёмная и вязкая, липла к подошвам, цеплялась травами и сучьями за края одежды, а ветер, потный и пропахший навозом, звонил — изо всей мочи — в бубенцы и подвески гаснущего в сумерках плаща. Дорогу перегородила река. Голиард снял с плеча мешок, распутал узел и поговорил с ним в последний раз:

— Блаженный Иероним пишет, что и тело наше всего лишь одежда. Если так, отдадим его в стирку.

Мешок развесил холщовую пасть и был похож на разиню-слугу из «Туза, кроющего всё». Свесившись с обрывистого берега, весёлый клирик попробовал нащупать концом своего посоха дно. Не удалось. Неподалеку, вдавившись в землю, лежал омшелый тяжёлый камень. Оторвав камень от земли, Франсуаз сунул его внутрь мешка. Вслед за камнем и голову: и крепко замотал вокруг шеи веревки. Срыв берега был в одном шаге. Берусь утверждать, что этот шаг был для о. Франсуаза последним.

Тюд кончил. Он стоял, прижавшись спиной к дверной доске: казалось, что чёрные створы её, как планки немецкой механической игрушки, щёлкнув пружиной, вдруг разомкнулись и, проглотив короткую, игрушечно-миниатюрную фигурку Тюда, автоматически сомкнулись над ним и его новеллами.

Но председатель не дал молчанию затянуться:

— Всё снесло течением. Это бывает.

— Тогда бы я не причалил, согласно заданию: конец разрешён в смерть, — парировал Тюд.

— Фэв и не возражает: конец решён. Но в середине вы спутали кубики: думается мне, не по неумению. Не так ли? Вашу улыбку разрешите считать ответом. Ввиду этого нам предстоит получить от вас штрафной рассказ. Почётче и покороче. Перерыва, я думаю, не нужно. Мы ждём.

Тюд досадливо передёрнул плечами. Видно было, что он устал: отделившись от порога, он вернулся в своё кресло у камина и с минуту рылся зрачками в россыпях искр и пляске сизых огоньков.

— Ну что ж. Поскольку о людях импровизировать трудно, потому что они живы — даже выдуманные — и действуют иной раз дальше авторской схемы, а то и вопреки ей, — придётся прибегнуть к константным героям: короче — я расскажу вам о двух книгах и одном человеке; всего-навсего одном: с ним-то я управлюсь.

Заглавие мы придумаем к концу вместе, а что касается титулблаттов моих книг-персонажей, то вот они: «Ноткер Заика» и «Четвёртое евангелие». Третий, человеческий, персонаж принадлежит не к людям-фабулам, а к людям-темам: люди-фабулы очень хлопотны для сочинителя, — в их жизнях много встреч, действий и случайностей; попадая в рассказ, они растягивают его в повесть, а то и в роман; люди-темы существуют имманентно, бессюжетные жизни их в стороне от укатанных дорог, они включены в ту или иную идею, малословны и бездеятельны: одним из таких и был мой герой, всё бытие которого сплющилось меж двух книг, о которых сейчас расскажу.

Человек этот (имя его безразлично) даже при живых родителях производил впечатление сироты, слыл чудаком. С ранних лет он предался клавиатуре рояля и целые дни проводил над выискиванием новых звукосочетаний и ритмических ходов. Однако слушать его если кому и удавалось, то лишь сквозь стену и запертую дверь. Некий музыкальный издатель был однажды чрезвычайно удивлен, когда на приём к нему явился худошавый юноша и, не подымая на него глаз, вынул из папки нотную тетрадь, озаглавленную: «Комментарий к тишине». Издатель, сунув обкусанные ногти внутрь тетради, полистал, вздохнул, оглядел ещё раз заглавную строку и возвратил рукопись.

Вскоре после этого юноша запер свою клавиатуру на ключ и попробовал променять нотные значки на буквы; но он наткнулся и тут на препятствие ещё менее преодолимое: ведь он был — повторяю ещё раз — человеком-темой, а литература наша вся на фабульных построениях; он, понимаете ли, не умел раздробляться и ветвить идеи, он был, как и надлежит человеку-теме, живым стремлением не из единого в многое, а из многого в единое. Иногда в коробках с перьями нет-нет да и попадетя нерасщеплённое перо: оно такое же, как и все, и заострено не хуже других, — но писать оно не может.

Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека, с упорством нерасщеплённой цельной натуры, решил насильно овладеть этим самым множеством; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и омоножествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, — и поезда повезли его от станций к станциям по разноязычному и лоскутному миру. Записные тетради кандидата в писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где всё чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.

И наконец, — это случилось после многих месяцев скитания — они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки и здесь, среди взбудораженной книжной пыли был отыскан Ноткер Заика: хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсутствовать ровно тысячу лет тому назад: кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить оттлевшее в расцветшее. И наш незадачливый — до сих пор — писатель деятельно принялся за пересоздание Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединённого зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нём, как однажды, гуляя по горному срыву, он услышал визг пилы, стук молота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошёл до поворота тропы и увидел артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, — вернувшись в келию, — сел за сочинение хорала «In media vita — mors». Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадях библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: всё же, с разрешения настоятеля, он унёс с собой в номер гостиницы целую кипу полуистлевших нотных листов, и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того неотысканного хорала. И ночью он ему приснился — величавый и

горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «In media» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика, или Balbulus, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и слоги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговей пред звуко сочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, хотя бы ценою слов, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пёстрыми флажками, мнемоническими символами, закреплявшими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги, — тогда, задержавшись на одном каком-нибудь le alliluja, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысленно ради иных заумных смыслов: эти упражнения Ноткера в области так называемого атекстали-са, особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заика завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сен-галленце герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тотчас же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить её в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях книги: S – um.

— Бессмысленный слог, — пробормотал из своего угла Фэв.

— Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отрывавшее начальное S от um. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил ещё одну чернильную черту, отделяющую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»... и так далее и «Не воспрекословит, не возопиёт и никто не услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «...Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтересован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил ещё несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтём отметин,— и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или: «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчёркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова, — например: «Но Он уходил в пустынные места...» или: «И Иисус молчал», — то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы, — и всякий раз это был рассказ о вопросах, не дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь и вообще говорили, здесь было отмечено и врезано — остриём мимо слов до конца. Теперь было ясно: на полуслиплившихся жёлтых полях ветхой книги рядом с

отказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей пятое Евангелие: От молчания. Теперь было понятно и чернильное S – um: оно было лишь сплюсненным Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая её, можно ли комментировать то, что... ну, одним словом, книга убила книгу — с одного удара, — и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и...

Тюд резко повернулся в сторону Рара. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушая и не слыша.

— Что же касается до заглавия, — поднялся Тюд, — то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово...

— «Автобиография», — отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком — из хихиканий, одышливых, всхрипов, клёкота и подвизгов — смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.

Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслед, но знакомое пожатие, охватив локоть, остановило меня:

— Два-три вопроса, — и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выпрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успеть догнать Рара. Наконец, пальцы и вопросы разжались — и я бросился вдогонку за уходившим. Под огненными свесами фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя её, я впопыхах не заметил палки, тыкавшей впереди идущего о тротуар:

— Простите, что я вас беспокою...

Человек, которого я принимал за Рара, повернул своё лицо и молча уставился в меня неожиданно сверкнувшими кругами стекол.

Растревявшись, я забормотал невесть что и шарахнулся вспять. Вопросу, мучившему меня в течение всей этой недели, приходилось дожидаться ближайшей субботы.

IV

В следующую субботу очередь по вскрытию замыслов принадлежала Дядю. Я вошёл в комнату пустых полок как раз в момент, когда рассказ должен был начаться. Стараясь спрятаться от круглых очков, вскинувшихся мне навстречу, я отодвинул своё кресло к камину, дергающему за чёрные тени неподвижно застывших людей, — и тотчас же стал беззвучен и неподвижен, как и все.

Дядя, боднув воздух рыжей щетиной и подпёрши подбородок набалдашником палки, изредка отстукивая её концом точки и тире, начал рассказ.

— Эксы: так называли или, вернее, будут когда-нибудь называть те машины, о которых попробую сегодня рассказать. Собственно, в науке они были известны под более сложными и длинными наименованиями: дифференциальные идеомоторы, этические механоустановки, экстериоризаторы и ещё не помню как; но масса, сплющив и укоротив имена, называла их просто: эксы. Однако всё по порядку.

Можно считать утерянной дату дня, когда идея об эксах впервые впрыгнула в голову человека. Кажется, это было чуть ли ещё не в середине двадцатого столетия или и того раньше. У скрещения двух улиц большого, достаточно шумного и сутолочного города, в одно из солнечных и ветровых утр под магазинной витриной стояло, крича вперебой, — несколько продавщиц бюстгальтеров. Ветер, вырывая их товар из рук, дергал за тесёмки и сферически вздувал кружевной батист. Люди, толкаясь и торопясь, шли мимо, не обращая внимания ни на проделки ветра, ни на назойливые приставания продавщиц. Только один человек, переходивший как раз в это время через грохочущую улицу, вдруг задержал шаг и пристально уставился в реюющие в воздухе формы. Продавщицы, заметив взгляд, закричали и закивали ему с тротуара: у меня — не у неё — у меня — не берите у них — мои дешевле! Автомобиль, почти налетев на созерцательного пешехода, круто стал, — и шофёр

яростно кричал сквозь стекло, грозя расплющить в лепешку. Но человек, вдруг оторвавшись глазами от батиста, подошвами от асфальта, продолжал путь, не превращаясь ни в лепешку, ни в покупателя. И если б некий суматошный юноша, который принял нашего прохожего, очевидно за кого-то другого, подскочивший и отскочивший, умел бы сквозь глаза видеть и то, что за ними, — он бы понял раз на всю жизнь: все всегда всех принимают за других.

Но ни юноша, ни шофёр, ни продавщицы, наткнувшись глазами на проходящего чудака, конечно, не видели и не подозревали, что именно в этот миг, и именно в эту голову впрыгнула идея об эксах. Ассоциации в голову таинственного прохожего, не оставившего векам ничего, кроме разрозненных черновых безымянных листков, шли так: «ветер — отрыв и наполнение внешних форм — эфирный ветер — отрыв, объективация, наполнение внутренних форм мысли — вибрации, виброграммы внутри черепа; если под удар эфирного ветра — то все «я» наружу, в мир, — и к чёрту тесёмки». Затем лёт ассоциаций попал в скрепы; заработала логика и заворошился десятилетиями копимый опыт: «необходимо социализировать психики; если ударом воздуха можно сорвать шляпу с головы и мчать её впереди меня, то отчего не сорвать, не выдуть из-под черепа управляемым потоком эфира все эти прячущиеся по головам психические содержания; отчего, чёрт побери, не вывернуть все наши in в ex».

Человек, застигнутый идеей об эксах, был идеалист, мечтатель; его несколько пёстрая и разбросанная эрудиция не могла реализовать идеи, впрячь мечту в хомут. Легенда говорит, что Аноним этот, оставивший людям свои гениальные наброски, умер полуголодным и безвестным и что все его формулы и чертежи, во многом наивные и практически бессильные, долго странствовали из рук в руки, пока не попали, наконец к инженеру Тутусу. Для Тутуса мышление отождествлялось с моделированием, упиралось в вещи, как ветер в паруса; ещё в юности, заинтересовавшись старым принципом идеомоторности, он тотчас же конкретизировал его в модель идеомотора, то есть машины, подменяющей физиологическое стяжение мускула механическим извне — из машины — принесённым воздействием на мускул. Старинные опыты с тетанусом у лягушки, ещё до знакомства Тутуса с черновиками Анонима, были им разработаны и довершены путём смелых и чётких опытов. Включая, например, слабую мускульную сетку, охватывающую глаз, в цепь своего идеомотора, Тутус заставлял глаз двигаться в ту или другую сторону, останавливая его — при помощи той же машины — на фиксировании любого предмета, вызывая истечение слез, поднятие и опускание века. Однако даже эти довольно примитивные опыты над созданием — как выражался Тутус — «искусственного зрителя» были мало показательны и плохо закрепляли феномен: дело в том, что физиологическая, идущая из нервных центров иннервация продолжала действовать, отклоняя, как бы интерферируя искусственную иннервацию, получаемую из машины. Знакомство с замыслами Анонима сразу же расширило кругозор и размах опытов Тутуса: он понял, что необходимо захватить машиной именно те движения и мускульные сжатия человека, которые имеют ясную социальную значимость. Записки Анонима говорили о том, что действительность, слагающаяся из действий, «имея слишком много слагаемых, слишком мала как сумма». Лишь отняв иннервацию у разрозненных, враздробь действующих нервных систем и отдав её единому центральному иннерватору, учил Аноним, можно планомерно организовать действительность, раз навсегда покончив с кустарничающими «я». Заменяв толчки волю толчками одной, так называемой этической машины, достроенной согласно последним достижениям морали и техники, можно добиться того, чтобы все отдали всё, то есть полного ex.

Тутус и ранее, совершенствуя свой идеомотор, о предсказанности которого он ничего не знал, успел включить в круг его действия основные, связанные с центробежной и системой мозга мышцы. Но один несколько неприятный казус надолго остановил и спутал ему работу: казус заключался в следующем. Тутусу довелось познакомиться с неким видным общественным деятелем, человеком большой воли и властности, но страдающим странно осложнившейся болезнью: вначале это была простая гемиплегия, расплывшаяся затем по всему телу и

атрофировавшая почти всю управляемую волей мускульную систему. Болезнь обезмускуливала этого человека постепенно; элементарнейшее движение руки, каждый шаг, артикуляция слова, стоили — что ни день — всё больших и больших усилий, и по мере того, как воля закалялась и, концентрируясь в борьбе за выявление, непрерывно интенсифицировалась, круг действий — что ни день — стягивался: тело обезмускуливалось и расслаблялось, пока дух этого человека не оказался как бы накрепко завязанным внутри мешка из кожи и жира, безвольно обвисшего и почти бездвижного. Ища выхода, несчастный обратился к помощи Тутуса. Тот приступил к пробуждению деятельности. Каждый день клавиатура иннерватора, стягивая и разряжая мускулы больного, заставляла тело шагать от стены к порогу и обратно, двигать руками и артикулировать выстуканные ею слова. Но действенность, приданная пациенту, была чрезвычайно ограничена: волоча за собой извивы проводов, тело политика двигалось, точно на корде, толчкообразно и мёртво, вслед стукам машинных клавиш. Правда, пациент мог ещё и без помощи машины писать медленные и трудные каракули, определявшие программу очередных сеансов. Однажды после трёх недель попыток прорыва в жизнь, наглухо завязанный мешок из кожи и жира, повозив обвислыми пальцами с вдетым меж них графитом по бумаге, накаракулил: самоубейте. Тутус, обдумав программу дня, решил превратить её в своего рода *experimentum crucis*: даже в опытах с этим, казалось бы, начисто обезмускуленным объектом работу механического иннерватора все же портили не поддающиеся учёту каракули воли, впутывавшиеся в точную партитуру машины. Трудно было предугадать все возможности волевых сопротивлений, и в опыте с самоубийством следовало ждать момента наиболее резкого, критического конфликта между волями машины и человека. Экспериментатор действовал так удалив из револьверного патрона порох, он ввинтил в пустую гильзу пулю и, войдя в поле зрения своего живого объекта, показал ему патрон, тут же, на глазах, сунул его в гнездо стального барабана, поднял спусковую скобу и вложил орудие смерти в бездвижные торчки пальцев. Затем начала работать машина: пальцы самоубиваемого, дёрнувшись, схватили револьверную ручку; указательный дал неточный рефлекс, — Тутус подошёл и поправил, вплотную вдвинув заупрямившийся палец во вгиб курка. Ещё нажим клавиши, — и рука, подпрыгнув, согнулась в суставе и — добавочным движением — дуло к виску. Тутус, снова подойдя к объекту, внимательно осмотрел его: лицевые мускулы в порядке, без противодействий, правда, глаза дёрнули ресницами и точки зрачков поползли чёрными пятнами вширь. «Очень хорошо», — пробормотал Тутус и повернулся, чтоб нажать последний клавиш, — но странно, — клавиш не подавался. Тогда экспериментатор нажал сильней: к тотчас же у виска объекта сухо щёлкнуло. Тутус сначала осмотрел машину и несколько раз подымал и опускал вновь свободно задвигавшийся тугой клавиш. Затем повернул выключатели, и вдруг человеческий мешок с непонятным своевољством стал сползать с кресла вниз, взмахнул, как подстреленная влёт птица, конечностями, и оземь. Тутус бросился к объекту: тот был мёртв.

Черновики Анонима, вернувшие — как я уже сказал — нашего экспериментатора к экспериментам, прежде всего заставили отказаться от старомодной системы проводов, зажимов и скреп, за которые моделирующий ум его, боявшийся прорывов в материк, так долго держался, стремясь закрепить непосредственность связи между передатчиком и приёмником поступка. Тутуса впервые при перелистывании выцветших строчек безвестного мечтателя коснулось дуновение того «эфирного ветра», о котором грезил предвосхититель. Я слишком плохо разбираюсь в энергетике, чтобы идти за Тутусом в конструкционных деталях его новых беспроводных идеомоторов. Но и сам изобретатель скоро запутался в, казалось бы, вдоль и поперёк известной ему области энергетической техники: дело в том, что физиологическая иннервация сопротивлялась толчкам, вынутым из проводов и рассеянными в эфире ещё стойче, — и почти отчаявшийся Тутус после множества повторных опытов, наконец, понял, что, лишь изолировав — раз и навсегда — мускульную сеть от воздействий нервной системы экспериментируемых, как бы оторвав одну от другой, можно дать полное включение поступков, так

называемого поведения, в идеомотор. В это-то время до него дошли вести об опытах итальянских бактериологов Нететти. Нететти-старший, ещё задолго до работ Тутуса, открыл так называемых паразитов головного мозга. И до него наукой было полуустановлено существование миелофагов, — форменных элементов, которые, усваивая мякоть периферических нервов, способствовали развитию так называемого неврита. Но можно считать, что Нететти, пользовавшийся всеми средствами микроскопии и в особенности методами хемотаксиса, впервые натолкнулся на существование чрезвычайно сложной, часто ускользавшей от луча сильнейшего ультрамикроскопа, фауны мозга. Мало того, подражая терпеливым садоводам, как любил он говорить, Нететти искусственно получил всяческие виды и подвиды мозговых бактерий, собранных им в виде обыкновенных желатинных разводков внутри запаянных колбочек его коллекции. Он не мог в своей стеклянной бактериоразводне делать то, что делал некогда Мендель с пылью, во-первых, потому, что сами бактерии были неизмеримо меньше пылинок пыльцы, во-вторых, скрещивание тут было бессильно по бесполости микроорганизмов; но у него было другое преимущество: бактерии, поселявшиеся, например, на так называемых перехватах Ранвье, наиболее утончённых частях нейрофибрилл, в течение суток давали приблизительно столько же поколений, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выражался Нететти, компактным временем, экспериментатор мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире бактерий тех результатов, какие при опытах, скажем, с приручёнными животными потребовали бы тысячелетий. Короче, ему удалось вывести особый вид паразитирующих на мозге микроорганизмов, названных им виброфагами. Виброфаги, введённые особой инъекционной иглой под мозговые оболочки, тотчас же, стремительно множась, нападали, как гусеницы на ветви плодовых деревьев, на разветвления выводящих нервов, сгучиваясь, главным образом, у места их выхода из-под мозговой коры; виброфаги не были,

в точном смысле этого слова, ни паразитами, ни сапрофитами, — пробираясь внутрь неврилеммы, крохотные хищники эти пожирали не материю, а энергию, то есть питались вибрациями, энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все его окна в мир, бактерии эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движенья своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Нететти-старшему приступить, наконец, к опыту, к которому он готовился всю жизнь. Надо вам знать, что человек этот, имевший бычью шею и голос скопца, всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о «врождённых идеях». «Стоит двинуть на новорождённый мозг в обгон первым ощущениям армию моих виброфагов, — думал Нететти, — и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, перехватят мир, втекающий по нервным приводам в мозг; при этом необходимо лишь иммунизировать, поскольку возможно, двигательные нервы, особенно аппарат артикуляций, — и тогда душа расскажет нам свои *ideae innatae*».

Этот жестокий чудака (большинство чудаков жестоки), открывавший незримости, был слеп на очевидное — уверовав в ветхие Декартовы призраки, он стал производить свои рискованные опыты над младенцами прививочного пункта, при котором находилась его лаборатория. Результатом был нелепый и «жуткий», как писалось в тогдашних газетах, процесс. Старого учёного обвиняли и обвинили в смерти десятков детей: начав в лаборатории, он кончил в тюрьме. Работы бактериолога, надолго опороченные и как бы смытые кровью жертв, были оставлены и забыты.

И Нететти-младший, захотевший реабилитировать имя, наследованное от отца, поневоле стал экспериментировать как бы от противного: отец старался закупорить входы в мозг, сын стремился живыми пробками бактерий закрыть все выходы из мозга. Нететти-младший, над которым тяготел поступок, опозоривший его отца, точно хотел покончить раз навсегда со всеми поступками. Казалось бы, не было человека более чуждого идеям Анонима, учившего об обогащении действительности

действиями, и вместе с тем это и был тот человек, какой был нужен для реализации идей Анонима.

Молодой Нететти вскоре добился получения новой разновидности виброфагов: разновидность эта паразитировала только на двигательной системе нервной сети, селясь как бы между волей и мускулом. Но упрямому исследователю этого было мало: изучая химические процессы внутри двигательных нервных волокон, Нететти установил трудноуловимое различие между хемотаксисами отдельных нервных стволов: обнаружился, неожиданно для самого исследователя, совершенно изумительный факт: волокна, заведующие произвольными движениями человека, давали несколько иные химические реакции, чем волокна симпатической системы и вообще иннерваторов, выключенных из сферы волевого усилия. Старик Нететти, любивший старые философские схемы, наверное, стал бы опытно обосновывать давно всеми отброшенное учение о свободе воли, — но сын его, чуждый метафизическим реминисценциям, шёл дальше, не оглядываясь ни на какие схемы: пользуясь всё тем же методом хемотаксиса, он как бы переманил виброфагов на систему так называемой произвольной иннервации, и когда свойства этого нового подвида были закреплены, назвал эту своеобразную микрокультуру именем акциофагов, или, как определял он их впоследствии, «пожирателями фактов». Теперь, не рискуя сгнить в тюрьме, можно было инъецировать культуры «пожирателей фактов» внутрь фибрилл нервной системы. Но память о судьбе отца и, может быть, самое соприкосновение с проблемой ликвидации поступков делала Нететти-младшего чрезвычайно осторожным в области поступков: пройдя обычный путь, ведущий от кроликов и морских свинок к homo sapiens'у, перед sapiens'ом он заколебался.

В одно из предвечерних раздумий бактериологу доложили о приезде издали, требующем свидания. «Просите». Перешагнув порог кабинета, посетитель сразу же — три длинных шага — надвинулся на короткотелого итальянца, зажал его пухлую ладонь в своих тонких и цепких фалангах и, наклоня сверкающие пломбы над вздёрнувшимся кверху удивлённым лицом Нететти, произнес:

— Тутус. Инженер. У вас — мельничные крылья, у меня — ветер — мелево пополам. Согласны?

— Какое мелево? — вскинулся Нететти, пробуя выдернуться из охвативших руку фаланг.

— Человеческое. Само собой. Я сяду, — и гость вдвинулся длинным костлявым телом в кресло. — Давайте мне ваших бактерий, а я вам — мой эфирный ветер, вдувающий в мускулы сжатия и расжатия, — и мы построим всю человеческую действительность заново: сверху донизу — понимаете? Мы рыли туннель с разных концов — и вот встретились: киркой в кирку. Я давно слежу за вашими работами, хотя вы скупы на публикации. Я тоже. Но предугадываю: если соединить ваше в с ё с моим всё — они опрокинут всё. Вот тут схемы (Тутус придвинул принесённый с собою портфель): но ех за in. Ну, покажите-ка мне ваших бацилл.

— Их не так легко увидеть, — попробовал отшутиться застигнутый врасплох Нететти.

— Смысл их видеть ещё трудней. Но я вижу, понимаете ли, насквозь и всецело.

— Тут есть риск, — замялся было бактериолог.

— Беру на себя, — ударил Тутус портфелем о стол, — к делу. Вот список мускулов, которые надо эмансипировать от нервной системы. Иннервацию растительных процессов, кое-что из аппарата психических автоматизмов, пожалуй, можно бы им оставить: людям. Остальное под удар эфирного ветра: я закружу все лопасти и мельничные крылья в ту сторону, в какую хочу. О, мои экссы дадут чистый помол!

— Но нужны капиталы...

— От них не будет отбою. Увидите. Состоялся своего рода конкордат.

И через малое время после его заключения правительства наиболее крупных держав получили — в порядке срочности и тайны — краткий мемориал Нететти — Тутуса, который, упираясь в точнейшие цифры схемы, предлагал реализацию экссов и

исчислял необыкновенные выгоды, — как финансовые, так и моральные, — которые должны были явиться следствием сооружения этих установок. До некоторых адресатов проект не дошёл, застряв в министерских канцеляриях, в некоторых был отвергнут, но иные правительства — главным образом, те, в которых валюта шаталась, государственный долг рос и где соломинки рассматривались всерьёз и казались спасительными, — проект был передан в комиссии, спешно рассмотрен и дебатирован. Тутус сразу получил вызов из двух столичных центров, так что одному из правительств пришлось даже ждать. На ряде тайных заседаний, по выслушании докладов, было принято решение применить идею механической иннервации в деле борьбы с душевными болезнями. Дело в том, что в эпоху, о которой рассказ, количество душевнобольных непомерно возросло. Все усилия науки не могли справиться с этим бедствием, слишком тесно связанным с ростом психических нагрузок и кривизнами быта. Опасность усугублялась тем, что процент заболеваемости шёл гигантскими прыжками вверх в области наиболее антисоциальных психозов: изоляция буйных, одержимых kleptomанией, эротическими формами, манией убийств и так далее, приобретавших обычно неизлечимый характер, требовала огромных средств и ложилась тяжёлым бременем на государственные бюджеты. «Государство должно, — аргументировал проект, — для ухода за оторванными болезнью миллионами рабочих рук, отрывать ещё сотни тысяч работников, расходуя при этом с каждым годом растущую сумму на постройку новых изоляторов, содержание персонала и так далее. Но вместо того чтобы изолировать здоровых от больных, не лучше ли изолировать болезнь от здоровья в организме душевнобольного: ведь при психическом заболевании поражается лишь нервная система, система же мускульная остаётся незатронутой. Если ввести в организм выключенного из социальной работы душевнобольного путём инъекции, бактерий, открытых профессором Нететти, то мускульная система, похищаемая вместе с мозгом у общества, возвращается его законному собственнику; стоит лишь соорудить экс — и мускулы всех душевнобольных, переключённые со своих явно негодных и даже опасных для общества нервных центров на единый центральный иннерватор типа «Тутус А-2», будут работать совершенно безвозмездно — на пользу общества и государства, которому постройка относительно дешёвого экса не только поможет снять с бюджета финансовый балласт, но и даст сразу огромное количество новой рабочей силы».

И вскоре — длинными стеклянными соломинами — пополз из земли экс. От прозрачных трубчатых складышей его потянулись туго натянутые из стеклистого металла, казалось, растворившиеся в воздухе тросы и нити, — так что когда в день открытия и пуска первого экса праздничная толпа хлынула к металлическим загородкам, окружавшим гигантский экстериоризатор, она ничего не увидела, кроме огороженной мгlistой пустоты (день был туманен). Тотчас пошли рассказы об украденных инженерами деньгах, о мнимых предприятиях и дутом бюджете. На трибуну взошёл премьер-министр, снял с плечи цилиндр и, тыча рукой в пустоту, заговорил о какой-то светлой эре, надсадно и длинно: выколачивая из себя слова, как пыль из старого и затоптанного ковра, премьер щурился близорукими глазами в огороженную пустоту — и вдруг как-то поперёк слов подумал: «А что, если его и в самом деле нет?» Впоследствии экс отомстил премьеру, превратив его — в ходе событий — в экс-премьера.

Толпа, отслушав речь, разочарованная и насмешливая, начала уже расходиться, когда в воздухе неожиданно возник звук: это было тихое и тонкое, будто стеклянное, дребезжание, подымавшееся вверх и вверх, как голос непрерывно натягиваемой струны: экс начал свою работу.

На следующий день, уже с самого утра, торопящиеся к началу служб заметили появление на улицах города каких-то не совсем понятных прохожих: прохожие эти, одетые, как и все, шли как-то толчкообразно и вместе с тем метрономически, — точно отстукивая по два шага на секунду; их локти были неподвижно вжаты в тело, голова точно наглухо вколочена меж плеч, и из-подо лбов неподвижные же, словно винченные, круглые зрачки. Торопящиеся по своим делам не сразу догадались, что это первая партия сумасшедших, выпущенная из изоляторов, — людей, с

отсепарированными по методу Нететти мускулами, включёнными в поле действия экса номер один.

Организмы этой первой серии были предварительно обработаны виброфагами; отделённая, совершенно безболезненно, от мозга и настроенная соответствующим образом, мускульная сеть каждого из этих новых людей представляла собой естественную антенну, которая, воспринимая эфирную волю гигантского иннерватора, проделывала машинную, единую на всех них, действительность.

К вечеру слух о движимых эфирным ветром людях обежал весь город; люди, сгрудившись у перекрёстков, в радостной ажиотации приветствовали криками возвращающихся с работы экссовых людей, но те, ни единым движением не реагируя на происходящее, шли тем же толчкообразным — по два удара на секунду — шагом, с локтями, притиснутыми к телу. Женщины прятали от них своих детей: ведь это же сумасшедшие — а вдруг? Но их успокаивали: чистая работа.

У одного из перекрёстков произошла неожиданная сцена: какая-то старуха в одном из проходящих новых людей узнала своего сына, которого ещё два года тому свезли, скрутив рукавами смирительной рубашки, в изолятор. С радостным криком мать бросилась к нему, называя его по имени. Но включённый в экс прошагал мимо, мерно стуча подошвами об асфальт, ни единый мускул не дрогнул на его лице, ни единый звук не разжал его крепко стиснутых губ: эфирный ветер веял, куда хотел. Забившуюся в истерику старуху унесли.

Первая серия экс-людей, как назвал их кто-то в насмешку, умела проделывать лишь чрезвычайно несложные движения, слагавшиеся в процесс ходьбы, подымание и опускание какого-нибудь рычага — и только. Но уже через две-три недели, путем постепенного введения так называемого «дифференциального снаряда», человеческое содержимое изолятора для умалишенных стало получать более сложную обработку: жизнь, организованная в них по системе Нетет-ти — Тутуса, расширялась и сложилась: так, появились чистильщики сапог, с особой экссовой методичностью движущие щётками по поставленному на колодку сапогу: вверх — вниз, вверх — вниз; в одной из фешенебельных гостиниц предметом любопытства, собиравшим толпы к её подъезду, стал приводимый в движение эксом швейцар, который, стоя с утра до ночи с рукой на ручке выходной двери, то открывал, то закрывал короткими и сильными толчками. Но строителями первого иннерватора не были учтены все случайности. По крайней мере, однажды произошло следующее: знаменитый публицист Тумминс, выйдя из своего номера в гостинице, спускался по лестнице: он шёл медленно и, цепляясь глазами за вещи и лица, настойчиво искал нужную ему для очередной книжки журнала тему: случайно зрочки его зацепились за зрочки швейцара, автоматическим движением раскрывшего перед ним выходную дверь: зрочки эти заставили Тумминса попятиться, — он ударился спиной о стену и, не отводя глаз от феномена, раздумчиво прошептал: «Тема».

И вскоре появилась, подписанная именем популярнейшего писателя, статья, озаглавленная «В защиту in». В статье с внушающей талантливостью описывалась встреча двух пар зрачков: отсюда и оттуда. Тумминс приглашал всех граждан и строителей экссов в первую очередь почаще заглядывать в глаза механизированных людей, и тогда, писал он, все они поймут, что нельзя покушаться на то, на что покушаются экссы. Нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат. Человек существо свободное. Даже сумасшедшие имеют право на свое сумасшествие. Опасно передавать функции воли машине: мы не знаем ещё, чего эта машинная воля захочет. Пламенная статья заканчивалась лозунгом: in против ex.

В ответ на выступление Тумминса в ближайшем номере официоза появилась передовица, которую молва приписывала Тутусу. В передовице указывалось на несвоевременность истерических выкриков по поводу каких-то зрачков, когда дело идет о спасении всего социального организма; тирады о «свободной воле» передовица объявляла запоздавшими на несколько веков — и даже чуть смешными в эпоху научно обоснованного и проверенного детерминизма; насущно важно, поскольку речь идёт об опасных для общества волях душевнобольных, дать им не свободу воли (которую пришлось бы тоже искусственно изготавливать — за неимением таковой в природе), а свободу от воли, направленной антисоциально. По

этому пути правительство намерено идти неуклонно и неустанно, делая новые и новые человеческие включения в экс.

Но Тумминс не унимался: на аргументы он отвечал аргументами и, не довольствуясь журнальной полемикой, стал организовывать «Общество доброго старого мозга», как он назвал однажды группу единомышленников, которые, собираясь на митинги протеста, вдевали в петлицы металлическое изображение двух полушарий мозга с лозунгом поперёк: *in contra ex*. И когда правительство начало строить рядом с эксом номер один новый мощный экстериоризатор номер два, сторонники «доброго старого мозга» двинулись было толпой к месту стройки, грозя разрушить машины. К месту происшествия были двинуты войска и в поддержку им, как бы в доказательство способности эксa к самозащите, по улицам зашагали, методически отстукивая свои два шага в секунду, отряды иннервируемых машиной вооружённых «экс-людей».

Ждали новых репрессий и в первую голову арестов среди членов тумминсовской организации, но таких не воспоследовало. На тайном заседании министров, по докладу Тутуса, постепенно забиравшего все большую и большую власть, было принято решение, выполнение которого возлагалось на экс. Внезапно Тумминс куда-то исчез, — ненадолго, дня на три, — после чего ошеломляюще скоро переменял своё *contra* на *pro*. Говорили, что Тумминс подкуплен, что он действует под угрозой смерти и так далее: всё это было неверно — Тумминс был просто включен в экс. Усовершенствованный дифференциатор, овладев артикуляцией знаменитого оратора, завладев движениями его пера, повернул все его слова, так сказать, оглоблями назад. В душе Тумминс всё так же ненавидел и проклинал эксy, но мускулы его, оторванные от психики, проделывали чёткую и пламенную агитацию, проводя кампанию по постройке новых этических машин. Сначала почитатели великого идеолога, не веря в измену своего вождя, говорили о подлоге и подмене рукописей, но автографы Тумминса, фотографически воспроизведённые и даже выставленные за стеклом витрины городской ратуши, заставили замолчать самых отъявленных скептиков. Обезглавленная партия постепенно распалась, тем более что перспективы, связанные с постройкой новых машин, многим и многим казались заманчивыми. Так, правительство обещало переложить воинскую повинность с здорового населения на включённых в эксy душевнобольных, заявляя, что с точки зрения социальной этики и гигиены рациональнее жертвовать негодными, чем годными. Для многих здоровых, таким образом, название «этических», приписываемое машинам, казавшееся вначале неестественным и смешным, теперь получало некое оправдание и приобретало вовсе не смешной смысл.

Городок эксов рос и рос. Казалось бы, время было задать вопрос: зачем их столько; не слишком ли много, если имеют в виду одних сумасшедших. Но увлечение стройкой захватило всех. Казалось, эфирный ветер, перейдя за указанную ему черту, сдул прочь все критицизмы и скептицизмы в мире. Боюсь, как бы он не сдул мне и моих слов...

Джж, вдруг перестав отстукивать палкой об пол свои тире и точки, как-то застопорился и беспокойно оглядел нас кругами стекол:

— Да, я чуть-чуть не проскочил стрелки: тут тема — как я её вижу — расходится двумя вариантами. Можно, совершенствуя эксy, превратить их эфирное дуновение в вихрь, против которого окажутся бессильными все естественные физиологические иннервации, и тогда... но тут мне пришлось бы распротиться с побочной темой «пожирателей фактов». Это не годится: раз введён образ, ему должно досуществовать до конца. Структура сюжета, как и структура эксa: включение возможно — выключение нет. Поэтому попробую сквозь тему на косом парусе. Итак...

Работы бактериологической лаборатории Нететти не прекращались. Доверив своим помощникам получение возможно более стойкой разновидности виброфагов, сам ученый занялся проблемой, возможен ли — по отношению к пожирателям фактов — иммунитет. Вскоре оба задания были более или менее выполнены: с одной стороны, была получена разновидность чрезвычайной сопротивляемости, способная

переносить засушивание, колебание температур, сохраняющая жизнеспособность, правда на не слишком продолжительное время и вне мозга, в любой среде, — с другой стороны, самим Нететти было открыто новое химическое соединение, названное им инитом, которое, будучи введено в кровь, проникало в мозг и, оставаясь совершенно для него безвредным, убивало виброфагов; самый организм, после введения в него инита оказывался навсегда иммунизированным по отношению к виброфагам. Были проделаны испытания инита, после введения вещества в кровь нескольких включённых в эксы буйнопомешанных, болезнь снова хлынула к ним из мозга в мускулы: экспериментируемые, бившиеся с пеной у рта на полу лаборатории, тотчас же были уничтожены, а результаты испытаний были признаны удачными. По настоянию Тутуса профессор Нететти занялся изготовлением инита. На очередном тайном собрании Верховного Правительственного Совета Тутус, поблескивая пломбами, докладывал:

— Я считал бы себя сумасшедшим, если б согласился ограничиться применением эфирного ветра к одним лишь сумасшедшим. Невидимый лес эксов растёт с каждым днем. Я давно уже отказался от метода искусственной настройки мускульных систем. В сущности, любая мускульная сеть, если её изолировать от мозга, может быть включена в иннервацию соответствующей частоты. Каждый из построенных эксов рассчитан на волны той или иной частоты и, будучи пущен в дело, включит в себя целую, ну, скажем, серию людей, как бы самовключающихся в данную частоту. Разумеется, при условии изолированности их мускульных приёмников от иннервации изнутри, то есть опять того же, чёрт бы его побрал, «доброе старого мозга», с которым у нас было и, боюсь, будет ещё много неприятных хлопот. Резюмирую: наша страна — как это всем известно — поставляет на мировой рынок всяческие консервы, экстракты, сушёные фрукты и прессованные питательные вещества. Новая разновидность виброфага достаточно жизнеспособна, чтобы, пройдя сквозь прессование, сушку и проч., и проч., добраться до организмов наших всесветных потребителей, а там по токам крови в мозг и... Инит мы сохраним, разумеется, только для себя. О преимуществах, которые даст нам все это, о той новой мировой ситуации, которая должна быть отыскана между инитом и эксом, вам, государственным мужам, объяснять излишне.

И вскоре после этого бесчисленные разводки виброфагов, впрессованных в бульонные кубики, засушенных и замороженных внутри всякой снеди, запаянных в миллионы консервных банок, застранствовали навстречу миллионам ртов, доверчиво проглотивших себя самих, — если мне позволено будет так выразиться. Первые же граммы инита, изготавливаемого чрезвычайно медленно самим Нететти, без допуска каких бы то ни было помощников, не вышли за узкий круг правителей и их приближённых: дело в том, что эти люди, отдавшие эксам всех умалишенных, обезопасить от возможного включения в машину решили в первую голову наиболее здравомыслящих, то есть самих себя. Разумеется, в дальнейшем, по мере получения новых граммов и скрупул, постановлено было распределять их от центра к периферии среди всех полномочных граждан государства, на деньги которых, собственно, и строились все эксы, но... Но внезапно умер Нететти: его нашли со вспухшей шеей и вспученными белыми глазами среди химических стекляшек его тайной лаборатории. Никаких записей и формул изготовления инита обнаружено не было. Стекланный пузырёк с несколькими граммами инита, который учёный носил при себе, сберегая от посторонних глаз (об этом знали лишь Тутус и члены Тайного Совета), отыскан не был. Даже Тутус был взволнован и растерян. На экстренном собрании Совета он, привыкший лишь отвечать или не отвечать, впервые спросил:

— Что делать?

Тогда поднялся самый молодой из всей коллегии по имени Зес.

— Почему не Зез? — вскинулся председатель и обвёл нас всех недоуменной улыбкой.

Замыслители переглянулись.

Но Дяж продолжал отстукивать свои точки.

— Так вот. Встал, говорю я, некий Зес, ничем особенным себя до сих пор не проявивший. Это был человек умный, но жестокий, — тот, скажем, традиционный злодей, без которого не обходится ни одно фантастическое, принужденное заменять характеры схемами, повествование. Д-да. И ответ был дан: пустить в дело экссы. Все. И немедленно.

В коллегии произошло движение. Тутус возражал:

— Но ведь план иммунизации не проведён. Следовательно, в экссы могут включиться и...

— Тем лучше. Чем меньше управляющих, тем больше управляемость. И после: учтён ли собранием факт исчезновения инита? Наши замыслы, вместе с тайной инита, могут попасть — если уже не попали — в чужие руки. Пока мы будем медлить, слухи о наших замыслах переползут через границу, но и ранее того наши сограждане, если в них есть хоть капля здравого смысла, успеют разделаться и с экссами, и с нами: или вы думаете, что они простят нам наш иммунитет?

— Да, — заколебался Тутус, — но пуск экссов всё же преждевременен. Ведь бациллы не успели ещё добраться до всех мозгов и на всей планете. И затем, я не уверен, что наши предельно мощные экссы, даже будучи пущены все сразу, включают в сферу своего действия — скажу закругляя — более двух третей человечества. Возможны индивидуальные отклонения мускулатур — всех не разберёшь по сериям.

— Очень хорошо, — подхватил Зес, — две трети мускулатуры всего мира — это более чем достаточно, чтобы выключить невключённых и из жизни: начисто. Предлагаю конкретное решение: бациллированные консервы пустить и на внутренний рынок. По самым дешёвым ценам. Второе: какой бы ни было ценой, в ближайшие же дни достроить последний сверхмощный экс. Третье: немедленно после его окончания перейти, так сказать, от науки к политике.

Но события надвигались даже быстрее, чем их расчислял Зес, соглашавшийся с Тутусом в том, что бациллы скорее мыслей проберутся в мозг. Уже наутро после экстренного заседания рабочие не вышли на стройку экстериоризатора; на улицах было заметно какое-то недоброе оживление: по рукам ходили свежеепечатанные подпольные листовки; за городом загудел митинг; войсковая часть, посланная для окружения сборища, не выполняла приказа. Зес понял, что на счету даже минуты, он не стал тратить их на созыв Совета, а бросился, вместе с десятком приверженцев, в невидимый городок, где стояли прозрачные мачты иннерваторов: никто не остановил их — весь персонал, обслуживающий машины, находился сейчас на митинге.

Толпа, созванная прокламациями, сгрудилась — голова к голове — в огромной ложбине, начинавшейся тотчас же за городской чертой. Ораторы кричали с деревьев, по-птичьи пронзительно: одни о заговоре, будто бы уже полураскрытом, другие — о народных деньгах, невесть на что растраченных, третьи — об измене народу, четвертые — о мщении и расправе. Из шевелящегося муравейника выдёргивались кверху кулаки и палки, прокатывались грохоты гимнов и рёв проклятий. Из-за шума никто не слышал тихих, стеклисто-тонких звуков, внезапно всверлившихся в воздух. Внезапно уже начало происходить что-то странное: часть толпы, вдруг отделившись, выклинилась из митинга и двинулась назад в улицы. Ораторы, сидя на своих деревьях, подумали было вначале, что это их слова толкают к действию, но они ошибались — это было дело пущенных в ход первых экссов. Толпа примолкла. Теперь были ясно слышны сплетающиеся звоны иннерваторов; вот зазвучал ещё один, острый и вибрирующий, и новая процессия, накапливающая людей, как магнит железные опилки, потянулась, безлюдя митинг, под углом в девяносто градусов к первой. Даже некий молодой агитатор, сидевший на дубовом суку, теперь уже ясно видел, что так не идут на месть и разгром: все, включавшиеся в шествие, шагали, как-то странно втиснув локти в тело и автоматически четко отстукивая шаг. Пока юный агитатор, почти плача от обиды и гнева, пытался кричать вслед уводимым, невидимое что-то, вдруг охватив его мускулы, разжало кисти руки и притянуло локти к телу; теряя равновесие, юноша грохнулся с сука оземь, но не успел уже закричать: невидимое что-то притиснуло челюсть к челюсти, пресекло крик и, задвигав вдруг тяжами расшибленных ног, заставило их, сгибая и разгибая им

колени, присоединить агитатора к процессии: в душе у юноши бушевала ненависть и бессильное бешенство: «Только бы добраться до дому, взять оружие — и тогда посмотрим», — бунтовал мозг, но мускулы задвигали тело в сторону, противоположную дому: «Куда я иду?» — металась изолированная мысль, а тем временем шаги, точно отвечая на вопрос, медленно — по два удара на секунду — подводили собственника мыслей к железной ограде невидимого городка. «Тем лучше, — обрадовался агитатор, — вас-то я и искал», — и он почти со сладострастием представил себе, как будет бить чем ни попало по прозрачным нитям, как подкопает стеклянную мачту и порвёт провода от подземных роторов: шаги, как бы поддакивая, подвели его к сплетениям самого большого, ещё не вполне законченного сверхсильного экстериоризатора; юноша напряг все силы, — казалось, таинственное что-то помогало ему, — он схватился за стеклянную, полуввинченную трубу, и тут руки, как будто нечаянно соскальзывая с скользкой поверхности, стали медленно, но методически довинчивать мачту: только теперь несчастный понял, что вместе с другими, автоматически распределившимися по площади городка людьми, он работает над достройкой эксов.

Эфирный ветер, начав дуть от невидимого городка, быстро попрокидывал конституции государств, окружавших страну, приютившую идею Нететти — Тутуса. В несколько порывов эфира было сделано несколько революций: Зес называл их «революциями из машины». Делалось это чрезвычайно просто: дергая людей за мускулы, как за верёвочки у движущихся кукол, экс, действующий по определённому радиусу, накапливал их в столичных центрах, окружал куклами государственные учреждения и дворцы, заставляя толпы артикулировать — всех, как один человек, — какой-нибудь несложный в два-три слова лозунг. Людям, избегнувшим включения в иннерватор, оставалось бежать — подальше от эфирных щупалец машины. Но вскоре был закончен и пущен в ход сверхсильный экс, достававший до мускулов и через океаны. Сбившиеся в беспорядочные толпы, беглецы пробовали организовывать сопротивление: на их стороне были некоторые преимущества — гибкость и многосложность движений, которых не было у толчкообразно движущихся, шагающих по прямым линиям, не способных к ориентировке новых людей. Тогда началось методическое, по квадратам, истребление невключённых. Идеально ровные шеренги «новых» шли, как косари по зрелой пашне, — от межи до межи, — скашивая всё живое прочь с пути. В смертельной тоске люди прятались в чащу лесов, зарывались в землю; иные же, имитируя автоматические движения новых, примыкали к шеренгам их, лишь бы не быть убитыми. Работа по очистке человеческого сора — как выразился однажды наш Зес — корректировалась на местах специальными наблюдателями из числа тех двух-трех сотен иммунизированных, на которых работали экссы. Когда эфирная метла кончила мести — все территории были соединены в одно мировое государство, которому было дано имя, сочетающее название машины и реактива: Эксиция.

После этого диктатор Зес объявил о переходе на мирное строительство. Прежде всего необходимо было озаботиться о создании человеческого аппарата, который мог бы достаточно точно, с квалифицированной автоматичностью, обслуживать аппараты системы Тутуса. Дело в том, что в период переворота и борьбы у машин приходилось работать все той же горсточке иммунизированных: управление эксами требовало сложной системы движений и учета столь же сложной сигнализации. Последнее создание Тутуса — экс для управления всеми эксами, был, наконец, воздвигнут и освободил олигархов в значительной степени от нервной и трудной работы по подаче иннервации. Второй реформой — была ликвидация в Эксиции народного образования: представлялось совершенно излишним обучать тому или этому людей, если и это, и то могли проделать иннерваторы: графа расходного бюджета по просвещению массы была заменена графой расходов на усовершенствование единой центральной нервной системы, сконцентрированной в невидимом городке. Затем «ех» каждого человека, его мускульная потенция была взята на учет, и, сидя у клавиатуры центрального экска, Зес с точностью знал ту сумму мускульной силы, запас труда, который можно было в любой момент бросить на выполнение того или иного задания, распределить и перераспределить как угодно.

Вскоре города Эксинии украсились грандиозными, циклопической мощи сооружениями, правда, застройка велась по единому плану, ориентирующему по линиям эфирных волн: прямые, как дорожки кегельбанов, улицы — от жилых корпусов к фабриками и обратно — легли все и всюду по параллелям к меридианам и линиям долгот. Сами работники, из которых иннерваторы брали все наличие их сил, стали жить в просторных и светлых дворцах, получая изобильную пищу, но радовало ли их это — неизвестно. Психика их, отрезанная от внешнего мира, изолированная в их, разлучённых с мускулами мозгах, не давала ни малейшего знака о своем бытии.

Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о её продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения ещё одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира, бросал мужчин на женщин, случал и разлучал с таким расчётом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати — один из иммунизированных, личный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, — ну, чтобы не искать долго имени, — назовем его Шагг.

— У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имён, — дернулся в кресле Шог, — и я советовал бы вам...

— К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, — возвысил голос председатель, — продолжайте рассказ.

— Так вот, этот Шагг, ещё задолго до всяких эксификации тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества оного Шагга, ставила его ни во что, — Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал её и внутри любви — он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дёргавший — в тот, помните, первый день — за тесёмки легких полукружий, умел наполнить их, в сущности, только воздухом — ну, и экссы могли приготовить всё, что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог... виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, — он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.

Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счётчиках, точно дозируемой и распределяемой действительности; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и эксонов, которыми правили. Казалось, что Рах Ехiнае ничем не может быть нарушен, но тем не менее...

Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включённых. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, — очевидно, неточно иннервированные — эксоны стали переходить их поперёк; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация эксов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, — рождаемость давала довольно низкий балл. Всё бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружили какие-то технически не учтённые отклонения и неправильности в работе иннер-ватора, приводившего в действие «аппарат» Эксинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой, — и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину — есть один способ: остановить её».

После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить экс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум перебоев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные — казалось, наиболее гуманным принести в жертву именно их.

В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишённым ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и — кто где был — неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо описанных со счёта эксонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставались людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо гнить; проверка машины не была закончена, поэтому — в интересах социальной гигиены — всю эту дёргающую ресницами человечину... пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.

А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранного на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты:

— Иннерватор в абсолютном порядке — был и есть, — с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. — Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина эксцессов не в эксах, то... её надо искать в эксонах, в изолированности и безнадзорности их психик. Недавно я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение её справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты, запертой на ключ, не переступить: ни изнутри — ни извне. Меня, разумеется, совершенно и не интересуют все эти душеобразные придатки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия, вроде «внутреннего мира» и так далее...

— Но это не интересует и вас, Дяж, — ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: — Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантазмагории — проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действительность; вы входите в факты извне, а не изнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы — смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда...

— Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса, он — несколько неожиданно для патрона — вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что... но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»... — в век эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напрочь и начисто, — найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведённого невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включённый в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилён бросить человечеству свою всепасающую мысль: в мире, где действие и мышление, замысел и овеществление разобщены, — он, видите ли, выключенник.

В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда её не просят) — даме, которую машина отдаёт именно тому, кому отдано и её сердце, но «он», извольте ли видеть, — не знает этого и никогда не сможет узнать. В произведении этом было много зачёркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нём подробнее не берусь.

Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, попадающей и в бытие и в машину одновременно: то есть рассказывалась история ребёнка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в

котором застаёт его уже включённым в экс; для существа этого не существует мира за пределами экса: экс для него трансцендентален, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится

ребёнку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, — короче, ход машины, обуславливающий всё объективно происходящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений в самих в себе, то есть к крайнему спиритуализму. И всё же, шаг за шагом, Шагг выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными совпадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, привносимым извне, из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эксона к мечте об ином умопостигаемом мире, в котором исключения эти превращены в правило и... но не буду кончать, потому что и Шагг не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.

Явившись к своему патрону, Шагг застал его в обществе, — хотя слово «общество» тут вряд ли подойдет, — застал его стоящим перед двумя эксонами, вдвинутыми в сиденья кресел.

— Вы хотели вшагнуть в потустороннее, если я вас правильно понял на последнем собрании. Закройте дверь. Так. А теперь я вам распахну души вот этих двух. Садитесь и наблюдайте.

— Но я не понимаю... — пробормотал Шагг.

— Сейчас поймёте. Два часа сорок минут тому назад я ввёл им в кровь почти по грамму инита. Тут вот в пузырьке хватит ещё на два-три таких же опыта. Инит действует к концу третьего часа. Внимание.

— Но, значит, Нететти... его смерть, — и Шагг почувствовал, что глаза его заблудились меж манекенов, Зеса и крохотного пузырька, поставленного на столе.

— Бросьте о пустяках. Смотрите: один начинает шевелиться. Несколько минут тому я приказал их выключить из экса. Значит, вы понимаете...

И действительно, один из манекенов вдруг странно дёрнулся, выгнул грудь и сжал кулаки. Глаза его оставались закрытыми. Затем меж губ его проступила, пузырясь, пена, он вдруг раскрыл немигающие глаза и мутно уставился в стоящих перед ним людей. Казалось, мозг его, в течение долгих лет разлучённый с мускулами, ошупью отыскивал к ним дорогу — и вдруг произошёл контакт: рванувшись с места, эк-сон с звериным ревом бросился на стоявшего в двух шагах от него Зеса. Мгновение — и они покатались по полу, ударяясь о ножки стола и опрокидывая мебель. Шагг бросился к свившимся в клубок телам и, замахнувшись головкой ключа, зажатого ещё в его руке, изо всей силы ударил эксона в висок. Зес, высвободившийся из тисков, поднялся, с трудом лоя воздух разбитыми губами. Первыми его словами было:

— Добейте. И свяжите другого. Немедля.

Когда Шагг стягивал узел на схваченных верёвкой руках живого эксона, тот зашевелился, как шевелится человек, просыпающийся после долгого глубокого сна.

— Скрутите ему ноги, — торопил Зес, сплёвывая кровь на пол, — с меня достаточно и одной схватки.

Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл, наконец, глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из синих пустых глаз его текли слезы. Зес, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.

— Я знал их обоих, Шагг, в их прежней доэксковой жизни. Вот этого, ещё живого, я почти любил, и почти как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием — я

хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашиненную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое, бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлучения от действительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишённых, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в повиновении, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растопчут — и нас, и нашу культуру. Тогда — Эксиинии конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, исключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу... одним словом — это кстати, что пузырьёк с последними граммами инита во время нашей схватки разбился.

Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шёл, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; попав в шеренги, медленно и методически — два удара в секунду — шагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, — ему даже нравилась та лёгкая бездушная пустота, какую привносило в него соприкосновение с мёртвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеса ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, — так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрёстка влево. И Шагг. Затылок по прямому разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок — как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом — под углом отражения — по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алая, свис с борта и нырнул в лузу — вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.

Когда Зесу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свёл брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:

— Дальше.

«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точных и сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксиинию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и чёрные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бесценно встучивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире, не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партитура фактосочетаний не вошла в смычки. Прозрачные матчы невидимого городка ещё продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн и пресловутый Рах Ехипае оказывался нарушенным и искажённым.

Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, — находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей — из числа инитов, — работавших на местах, погибли насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, — городок казался изолированным и окружённым: проволокой, безумием, безвестностью.

Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то

защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез пригласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», — забормотал тот смущённо, выпрыгивая глазами из строк.

— Мне говорили — вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секреции?

— Тождественно.

— Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.

На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зез резюмировал:

— Итак, in восстало на ex. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы ещё можем свести игру на ничью. Я предлагаю: остановить эксy. Немедля — сразу и все.

При голосовании — все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание эксy, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.

Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точнее — до беструпья. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не было вполне безлюдно; там уже жили — полуодичавшими кланами и ордами — спасшиеся по дебрям и чащам, изгнанные из культуры, сваянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подальше от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих детенышей, возвращённых в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворочало своими тяжкими спицами. Но если б человек, скрытый под именем Анонима, чуть не попавший в тот, — помните, первый рассказанный мною день, — под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, всё-таки попал бы под него и был расплюснут, вместе с идеей, — то, как знать, может быть, всё завращалось бы в другую сторону. Хотя...

Джэ, стащив стёкла за стальные усики — с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым футляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.

Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к порогу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросами, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включённый в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и неокликнутый.

В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.

— Боюсь, что запутаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?

— Я слушаю, — бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти — локоть к локтю — вдоль безлюдной панели.

— Среди вас, замыслителей, — как вы себя называете, — мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы... ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов — ни букв. Повторяю — я не хочу быть эксоном!

— У вас верный инстинкт — «эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но всё же отвечу. Вините во всём меня, инита. — И, полуобернув ко мне лицо, Рар оглядел меня — сквозь ласковую полуулыбку.

— Вас?

— Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего камина вряд ли бы появилось восьмое кресло.

— Об игле и нити?

— Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие самоизоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьёт. Я обвинил и их и себя — в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были замыслами — они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтिका в данном случае обходятся без света», — аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, — ответил я, — бессолнечный сад может взрастить лишь этиолированную поросль», — и рассказал им об опытах взращивания цветов без доступа света: получается — это любопытно — всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными, и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска взращённого тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действены ли они и за пределами нашей чёрной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на обуквлениях: достаточно ли видимой окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв: «Темнота, — сказал он, — превращает людей в воров, — это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьём голову — по самое темя — замыслами, сумеет их вынуть из неё и обменять на деньги и славу?» — «Пустьяки, — успокоил его Зез, — я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». — «Но почему?» — «Да просто потому, что он без — рук: существо, которое у Фихте названо — «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подобрать». Вот. Кажется, всё. Простите.

Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуту я стоял в ошеломлении и растерянности. Рар ушел, но слова его — ещё кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав и не доспросив о главном: чёрная узкая улица тянулась предомной, как нить, выскользнувшая из иглы.

V

Сначала было я решил не посещать более суббот Клуба убийц букв. Но к концу недели мысль о Раре заставила меня перерешить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Рара, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и искажителей; сначала рукопись, а потом и... мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж чёрного каре пустых книжных полок, — то с наступлением субботы я решил — в последний раз, говорил я себе, — присутствовать на заседании клуба.

Когда я вошёл в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своём привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной исключенности и равнодушия.

После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В

маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик Он повернулся в кресле, затрепавшем под грузом жира и мышц.

— Моя астма, — начал Фэв, с трудом присасывая воздух, — не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную Историю о трёх ртах.

Экспозиция её такая: в кабаке «Трёх королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имён их мне достаточно трёх букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краёв, — и приятели под музыку стаканов развлекались — всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препёстрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто): и сейчас

он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, — и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили поцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуждался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щёки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдирает зубами мясо. Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:

— Почему у людей не по три рта?

— Чтобы целоваться сразу с тремя? — захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.

— погоди, — остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, — не лезь с поцелуями меж слов.

— Я и говорю, — повернулась Нигова подруга к Ингу, — если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы...

— Вздор, — оборвал Инг и учительно поднял палец, — силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо избирающее. Не на этом ли и зиждется *liberum arbitrium*, способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчинённых соцелей; а Фома из Аквинь дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исходящее от приводящего. Рот, *os*, как сказал бы он, причастен и пище, и целованью, и слову; но в чём его главное свойство? Как ты думаешь, любезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.

Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам.

— Мне кажется, — проговорил Гни, — что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, — на моей тарелке: ясно, рот — чтобы есть. А остальное всё так — припутано.

— Мой добрый друг, — закачал головой Инг, — не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?

— Потому, — отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, — что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас — меня в рай, тебя в ад — и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.

— Мне жаль ангелов, — вмешался в спор Ниг, дёрнув ус над пухлой и алой губой, — если им когда-нибудь придётся тащить в горние выси вот такую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?

Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:

— И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория другого, *io eterov*, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни — так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, — и это так; но — слушайте со вниманием — не скажи Господь слов «да будет» — не родилось бы

само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлёпанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.

— А если так, — не унимался Гни, — то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?

Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты — храпом.

В сновидении Ингу явилось чудовищное трёхротое существо, — беспрерывно шевелившееся шестью губами: Инг пробовал существо доказывать, что оно не существует, но отвратительный трёхротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:

— Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..

— Как призрак, — докончил Инг, — если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус — наваждение, тень.

— Чёрт возьми, — ухмыльнулся Ниг, — эта тень отравила мне колени. Расскажи сон.

И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали вперебой о главном назначении рта:

— Чтобы есть.

— Врёшь — чтоб целовать.

— Оба врётё. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю вёсла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догрёб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрещиваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак — плыву...

— Да, вы плывёте, — Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам — искры прянули навстречу удару, — плывёте, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берёт набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, изволите ли видеть, «бросает вёсла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, — этак мы скоро... Жилы Фэва налились кровью:

— Вы слишком трусите книжного переплёта: меня ему не захлопнуть, потому что я... не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, — а вот...

Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:

— Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.

Все глаза были на мне. И я ответил:

— Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.

— Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трём героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и

гляди, проснётся хозяин и потребует за ночёвку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трёх королей». Городок ещё спал, зажмурив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:

— Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?

Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.

— Это камедул, — присвистнул он, — мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твоё дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.

— Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх — это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идём дальше.

Вновь зазвякавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей — сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она всё твердила своё:

— С чёрным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Чёрное пятно на лбу. Корова.

— У всякого своя забота, — вздохнул Инг.

В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.

Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.

К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шёл с весёлым — сквозь пыль и загар — лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, — ваш о. Франсуаз, —

— обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу — и Фэв продолжал.

— Отчего у человека один рот, а не три? — спросил, поклонившись клирику, Ниг.

Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:

— А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберётесь до ближайшего весёлого дома, — любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.

И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.

— А ведь поп хотел нас одурачить, — зачесал в затылке Гни.

— И чисто сделал дело, — сплюнул с досадой Ниг.

— Дурачить, — ответил Инг, — это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски — как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагири-га, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены. Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.

И трое молча продолжали путь.

Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы, вдали, над пригнувшимися к земле маслинами,

показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зелёной лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спелёнутым ребёнком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.

— Клянусь гусём, — рявкнул Гни, — спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.

Ниг только облизал губы. А Инг, покачив головой, сказал:

— Если не вся истина, то две трети её открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, — ему дано то, что не дано нам — умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышлёныш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кушам райского сада, где всё было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трём смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребёнок?

— Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, — отвечала кормилица.

Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.

— О чём ты там? — спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.

— Ах, — отвечал Инг, вздохнув ещё раз, — я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.

— Кормилице? — зевнул Ниг.

— Нет, её госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот такие крохотные пiskuны... Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.

Мы оба были тогда юны — и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери — много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вокруг прекрасной Фелиции и молча пялили на неё глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звёздах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся покрасневшись, она посоветовала мне поговорить с её родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катулла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, — тот присвистнул и показал мне спину.

Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться её участия в нашем плане. Решено было так в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция... ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услышал стук в дверь, — и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.

— Ну-ну, — заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.

— Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог...

— Дурак, — сказал Ниг и отполз на локте на старое место.

— Я говорил ей о прославленных любовниках древности—о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение её руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся не убедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, — и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о... Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверь. Приоткрыв её, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил её и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.

— Дурак, — простонал Ниг и, заткнув уши пальцами, лёг ртом в землю, а Гни, дожевывая свою травку, спросил:

— И вы не проголодались?

— Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешёл к завлекательнейшему «*Argi amanti*» Назона, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за... Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней? Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.

— Идём, — сказала она няньке, и голос её дрожал от непонятого мне гнева, — идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.

— Постойте, — закричал я, теряя всякое понимание, — а как вы докажете, что были у меня?

Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.

— Скорей, — воскликнула она, — и если мне удастся вернуться к ложу не узанной никем, даю обет: избрать в мужья самого молчаливого из всех, кто меня захочет.

И они скрылись в мгле предутря, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.

— Ну вот видишь, — зазлорадствовал Ниг, — пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы, так печально.

— Она ещё не кончилась, — возразил Инг, подымаясь с земли, — конец её ждет меня вот за этими воротами.

И трое вошли в город.

Ночь пришлось провести без крова. Гостиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты, и ночью их мучили голодные сны.

Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в чётки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных камней иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударя себя в грудь; «*Mea culpra, mea culpra, mea maxima culpra*». Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни — чудесным образом — зазвенели золотые монеты.

Начать пить легко — кончить трудно. Скоро вокруг трёх пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение, опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавками стало людней, чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похохатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.

Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:

— Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но ещё более тревожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?

Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба гарольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочёл приговор:

«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав под надзор всех, кто видит и слышит. Осуждённому, именем Инг, воспрещается говорить; осуждённому, именем Ниг, воспрещается целовать; осуждённому, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таковом, после чего нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».

С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядком, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.

— Что ты скажешь на это? — спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осёкся.

Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно понурил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взяли за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза — в них блестели слёзы.

Началась жизнь, мало похожая на жизнь. В городе было достаточно милостивых и сострадательных девушек, которые со вздохом и сочувствием поглядывали на статного Нига: губы его потрескались — от любовной жажды, щеки ввалились и глаза стали мутны; он ходил, стараясь не глядеть на пунцовые бутоны девичьих уст, бормоча проклятия и жалобы. Но болтуну — Ингу — нельзя было даже пожаловаться: язык ему щекотало множеством невысказанных слов, которые приходилось проглатывать вместе со скудной пищей, которую делил он с Нигом. Они совестились есть в присутствии изголодавшегося Гни. Прежде чем разломать пополам сухарь, Ниг и Инг отходили куда-нибудь за дверь или за угол, чтобы не видел Гни. Тому, что ни день, становилось все хуже: от слабости и истощения он уже не мог ходить и двое друзей водили его за собой, держа под локти и помогая переставлять ноги. Вскоре несчастный впал в состояние полусна-полуяви и бредил видениями жирных окороков, шипящих колбас, проштигованных пулярок и всякой снеди, непрерывно вращавшейся на вертелах — перед его духовными глазами с благоуханием и сыком.

Ингу же нельзя было даже бредить: из страха, как бы не заговорить во сне, он почти не смыкал глаз.

Лучше всех держался Ниг. Не поддаваясь отчаянью, он дважды, выждав удобный момент, заводил беседы с часовым, стоявшим у ворот города. После второй беседы, отозвав в сторону Инга, Ниг сказал так:

— Послушай, болтун, ворота города, может быть, и можно открыть, но золотым ключом. Надо торопиться. С Гни плохо: он превратился из спутника в поклажу, но всё равно — надо спасти его, да и себя тоже. Всю жизнь ты только болтал, теперь придётся поработать, дружище. Я говорю о жене судьи. Кончай роман, иначе мы все погибли. Молчание знак согласия. Вечереет. Я высмотрел: окно судьи в это время всегда открыто. Поблизости никого. Идём, и я докажу тебе — при помощи твоего же рта, чудак, что ты ошибался относительно его назначения.

Инг страдальчески промычал, как глухонемой или человек с вырезанным языком, и покорно поплёлся спасать, подбодряемый пинками друга.

Последние инструкции ему были даны уже под окном, настезь раскрытым в ночь:

— Итак, помни: действуй поцелуем. Ещё: если скажешь хоть слово, я сам донесу и тебе вмиг оттяпают голову. Буду слушать и сторожить тут, под окном: я не старуха нянька и не засну, не надейся. Вот спина: полезай. Ну?..

И пятки обречённого, оторвавшись от земли, сначала упёрлись в плечи Нигу, затем, подтянувшись к подоконнику, громко стукнулись об пол. За окном раздался сначала женский вскрик, потом испуганный шепот. Ниг, привстав на цыпочки, с ухом, прижатым к стене, жадно слушал. Женский шепот завозмущался, вспрыгивая на вопрошающие высокие ноты; никто ему не отвечал. Короткое молчание. Потом громкие укоризны с плачем вперемешку. Молчание чуть подлиннее. И вдруг — тихий, заглушённый поцелуй. Ниг одернул шляпу и перекрестился. Поцелуй, что ни миг, становились внятнее и чаще. Ниг зажал уши ладонями и облизывал ссохшиеся губы.

Сначала сверху упал мешок, мягко звякнув о землю. Затем с подоконника свисли пятки Инга, мучительно обшаривающие воздух. Ниг быстро подставил плечи, и через минуту они шли, крадучись вдоль стен, к воротной башне города, где их дожидалась заранее туда доставленная живая кладь — Гни.

И Гни, и мешок с золотыми монетами половину своего веса оставили в стенах города, так что беглецы не слишком

пыхтели под своей ношей. Ещё до утра им удалось добраться до глухой лесной сторожки, где несколько золотых кружков обеспечили им относительную безопасность и отдых. Ниг тотчас же перемигнулся с краснощёкой сторожихой, Гни стали откармливать, набивая его пищей, как матрац сеном, а честно потрудившегося Инга никак нельзя было уговорить перестать говорить и отдохнуть: раззудевшийся язык не мог улечься во рту; ведь молчание — самая неисчерпаемая тема для рассказней.

Но чуть трое окрепли, окреп и четвёртый — спор. Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу: мнения, что гвозди, — чем сильней по ним бьют, тем глубже их вгоняют. И после того, как каждый из трёх ртов был на время разлучен: один — с поцелуями, другой — со словами и третий — с пищей, ни одна из трёх голов не хотела больше расставаться со своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку. И так как лесное безлюдье отвечало только эхами, — решили идти дальше.

И пусть идут, но нам, друзья замыслители, пора повернуть вспять. Дело в том, что линия пути с этого места делается для меня как бы пунктирной: череду встреч ведь можно удлинять и укорачивать, сюжет странствующего спора допускает свободное развитие: путь — от исхода к концу — разматывается, как верёвка лассо, — важно одно — добросить до ускользящего конца и изловить его в петлю. И конец тут, я думаю, должен быть такой. Разумеется, начерно и примерно.

Ведомые спором, трое идут и идут, пока путь им не пресекло море. Они повернули вдоль берега и вскоре очутились в одном из портов, откуда и куда уплывают и втекают корабли. Но море под штилем, ни зыби, паруса обвисли, — и расстранствовавшемуся спору приходится дожидаться ветра.

Мешок, подаренный Ингу, ещё позвякивает десятком монет. Зашли в харчевню. Когда вино развязало языки, Инг, обратившись к матросам, дюжим, просоленным морем парням, собутыльничавшим с ними, спросил:

— Как по-вашему, в чём смысл рта? — и предложил им выбрать один из трёх ответов.

Парни чесали в затылках и конфузливо переглядывались.

— А разве все три этих, как их... смысла в один рот не влезут? — ответил наконец один из матросов, опасливо оглядываясь на пришельцев.

Тогда Инг, снисходительно улыбнувшись, стал растолковывать:

— Смысл смыслу рознь. Причины — учит Дуно Скотус — бывают полные или исчерпывающие и неполные... ну, для простоты, скажем, пустые. Вот три бутылки:

две пустых и одна полная. Видишь?

— Вижу, — отвечал парень, собрав лоб в складки.

— Ну вот. Поставь их перед зрячим и скажи ему: выбирай. Ясно, зрячий протянет руку к той, что с вином. Так?

— Так, — как эхо повторил парень, и лоб его покрылся испариной.

— Ну а теперь закрой глаза.

Парень захлопнул веки, а Инг быстро и неслышно переставил бутылки:

— Бери одну. Живо.

Парень протянул руку и ухватился за горлышко порожней. Грохнул смех. И Инг, глядя в виновато мигающие глаза моряка, закончил:

— Так и со смыслом. Люди слепы: оттого и смыслы их пусты. И редко кто пьёт не из пустой бутылки.

Наступило почтительное молчание, пока старший из среды моряков, сокрушённо вздохнув, не сказал:

— Мы люди простые и не ученые: где нам отвечать на такие вопросы. Но ветры дуют во все концы мира. Кончится штиль, и я повезу груз солёной рыбы: на том берегу мне обменяют её на изюм и фисташки. Едем со мной: может быть, там, за морем, и вам обменяют ваши вопросы на ответы.

Тем временем заря протёрла чёрные окна светом, и трое, расплатившись, вышли на улицу. Невдалеке от порога харчевни, прижавшись тощей спиной к стене, сидела женщина: её щеки были раскрашены под цвет заре, но никто не взял её на эту ночь — и только утренний холод, не заплатив ни гроша, шарил ледяными пальцами, пробираясь всё глубже и глубже под пёстрые тряпки потаскухи.

— Бедняжка дрожит, — прищурился Ниг, — но пока что не от страсти. Чего она ждёт?

— Твоих поцелуев, Ниг, — толкнул его локтем Инг, — язва на её губах соскучилась по тебе.

— Ну, нет. Лучше ты скажи ей несколько слов в утешение. Инг сострадательно наклонился к женщине:

— Дочь моя, не сгнив на земле, не процветёшь на небесах.

Но Гни не дал ему продолжать. Пнув его ногой, он придвинулся к иззябшему существу и, порывшись в карманах, ни слова не говоря, вытащил ломоть хлеба и сунул ей в рот. Худые руки женщины тотчас же ухватились за край краюхи, проталкивая её навстречу быстро зажевавшим зубам.

— Скажи, крошка, — улыбнулся Гни, с умилением следя за работой её челюстей, — ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь неё высыпать слова или заклеивать дурацкими поцелуями, а для того, чтобы человек — при посредстве её — познал радость пищеприятия.

Хлебный ломоть долго не давал женщине ответить. Наконец трое услышали:

— Не знаю, право: в нашем ремесле — кто не целует, тот не ест. И не меня вам надо спрашивать, а идите вы вдоль берега вот по этой тропе, приведёт она вас к пещере. Пещера не пуста: живёт в ней мудрец — отшельник: он всё знает — оттого всё и бросил.

— Отшельников мы ещё не пробовали. Пойдём, что ли, — и странствующий спор продолжал свой путь по извивам тропы.

А к закату дня опередивший спутников Гни сунул голову в тьму пещеры и спросил:

— Что пристало рту лучше: поцелуй, слово или еда? На что из тьмы послышалось:

— Откуда роса — с земли или с неба?

— Говорят, с неба. Подошли Инг и Ниг.

— С неба, — подтвердили они.

Недоумевая, Гни снова сунулся головой в тьму, и тотчас же что-то тяжёлое ударило его в лоб, сшибло с ног и, выкатившись наружу, легло у входа в пещеру: это был обыкновенный чугунный горшок. Друзья осмотрели его и снаружи и изнутри; но ответа в горшке не нашли.

— Спрашивайте теперь вы, — сказал Гни, держась за расшибленный лоб, — с

меня довольно.

Отошли в сторону от входа в пещеру и решили заночевать, с тем чтобы утром продолжать путь. Горшок как упал на траву, донцем кверху, так и остался лежать.

Первым проснулся Гни — разбудила шишка, вздувшаяся на лбу. В рассветном блеске он увидел сидевшего рядом с ним незнакомца. Незнакомец, приветливо улыбнувшись, спросил:

— К отшельнику?

— Д-да. И вы тоже?

Незнакомец не отвечал и, пряча улыбку в седую клочкастую бороду, разглядывал распестренные зарёй росины, сверкавшие с зелёных остриев травы.

— Если и вы к отшельнику, то лучше не ходите.

— Почему?

— Потому что вместо ответа получите вот это. Точнее: этим, — и Гни с досадой пнул чугунный горшок; горшок откатился в сторону, и на травинах, спрятавшихся под его донцем, Гни с изумлением увидел дрожащие в переливах огней крупные живые росины.

— Чёрт возьми, — воскликнул Гни, — как они пробрались с неба под крышку горшка?!

— Чтоб объяснить то, — заговорил незнакомец, — что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо — ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове — незачем странствовать по свету: ответ тут же, под теменем, рядом с вопросом. Загадка всегда делается из разгадки, и ответы — так было и будет — всегда старше вопросов. Не буди спутников, пусть отоспятся: вам предстоит долгий и трудный возврат.

И, прихватив с собою горшок, старик скрылся в тьме пещеры.

В тот же день трое направились в обратный путь.

Добрая традиция сюжетосложения требует, чтобы туда рассказывалось на долгих, а назад — на перекладных. Итак, предположим, что мои трое, стоптав дюжину подмёток, подходят к исходу: их встречает родной городок; церковный служака, пробиравшийся подоткнув рясу, меж луж, чинно раскланивается с Ингом; девушка со вспучившимся животом, завидев Нига, роняет вёдра в грязь, завсегдатаи «Трёх королей», высунувшись в окно, кричат и машут Гни, — но трое, не выпуская из рук посохов, — мимо и дальше; впереди Ниг: он ведет их к Игноте.

Пришли. Во дворе пусто: лишь колёсная колея, насвежо вдавленная в грязь, да ветки хвои, от ворот к порогу. Стучат: никого. Ниг толкает, дверь — отскочила; входят в сени. «Здесь», — но и дверь в каморку Игноты настезь; на лежанке мятая солома; в воздухе ладан, и никого. Ниг снял шляпу. Двое других за ним. И, выйдя молча, путники — вслед за зелёными иглами хвои — к ограде кладбища. И меж крестов никого. Только издалека чавкающая о землю лопата. На звук. Провожавших, если и были, уже — нет. Замешкался только могильщик земля была тугая и противилась лопате.

— Здесь Игнота? — спросил Ниг.

— Здесь. Только если вам от неё что-нибудь нужно, приходите попозднее, когда кончится вечность.

— Нам ничего от неё не нужно, кроме ответа на один вопрос.

— Наше дело — закапывать трупы, а не откапывать вопросы. А трупы, как вам известно, неразговорчивы: о чем ни спроси, и рта не раскроют. Хотя вру, — ухмыльнулся могильщик и хитро подмигнул, — ракрывать то они его раскрывают, будто слово какое хотят последнее, только сказать его им не дают — сначала тесьмой зубы к зубам, потом забьют рот землей, и какое это слово, слово мёртвых, так никто никогда и не слышал. А любопытно бы.

— Неуч, — процедил Инг.

— Почему нет креста? — осведомился Гни.

— Таким не ставят, — пробурчал могильщик и снова взялся за заступ.

Тогда трое, скрестив посохи, увязали их в крест; когда он раскинул свои прямые деревянные руки над Игнотой, Инг сказал:

— Да, страна вопросов всё ширится и множит свои богатства, страна вопросов

— цветёт всё пестрее, всё ярче и изобильнее, но страна ответов пустынна, нища и уныла, как вот это кладбище. Поэтому...

— Выпьём. Аминь, — подсказал Гни. — Все трое закончили историю там, где её и начали: в «Трёх королях». Уф, всё.

Фэв сидел, неровно и хрипло дыша. Глаза нырнули назад, в жир. Председатель не сразу нарушил молчание:

— Что ж, и для вашей истории найдётся место в нашей несуществующей библиотеке, — он окунул пальцы в чёрную пустоту полок, как бы выбирая место, куда поставить ненаписанную книгу, — тема ваша — это, по-моему, какой-то весёлый катафалк быстро кружа спицами среди весело мигающих факелов, он пляшет на ухабах, раскачивая пёстрыми кистями и погребальной мишурой, и всё-таки это катафалк и путь его к кладбищу. Можете считать меня брюзгой, но вы все, уважаемые замыслители, норовите свалить сюжетные концы в одну и ту же могильную яму. Так не годится. Искусство литературного эндшпиля требует более тонких и многообразных разработок. Упасть в яму — легко, выбраться из неё, — если она притом глубока, — труднее. Ведь не затем же мы отшвырнули перья, чтобы взять в руки лопаты могильщиков.

— Может быть, вы и правы, — качнул головой Фэв, — мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на чёрную, чем с чёрной на белую. Тематические разрешения у нас неблагоприятны, потому что... неблагоприятны. Но если уж на то пошло, я берусь показать, что умею плыть и против ветра. Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно; а затем прошу наблюдать, как она будет оттуда выкарабкиваться — наверх — в жизнь.

— Ну-ну, послушаем, — улыбнулся Зез, пододвигаясь с креслом к рассказчику, — держайте.

Фэв поднял лицо кверху, как бы усиливаясь что-то вспомнить, фиолетовые блики прыгнули с потолка на вспучившиеся пузыри его щёк.

— Замысел этот закопошился во мне много лет тому. Я тогда был и подвижнее, и любопытнее, ощущал ещё тягу пространства и часто путешествовал. Произошло это так в один из моих приездов в Венецию, идя по предполуденным

раскалённым калле и виколетто, я свернул — по нужде — к одному из тех мраморных приспособлений, которые торчат там чуть не из каждой стены и пахнут аммиаком. Вокруг стока, облепив стену пёстрыми квадратиками, лезли в глаза адреса венерологов. А чуть в стороне, отгородившись узкой чёрной рамкой, как-то отдёргиваясь всеми своими чинными чёрными по белому буквами от аммиачной компании, квад-ратилось чёткое, под чёрным крестиком, авизо:

«Вы не забыли помолиться о тех 100 000, которым предстоит умереть сегодня?»

Конечно, это был — так, пустяк, сухая статистическая справка, ловко изловленная чёрным квадратиком, вежливо напоминавшим — всего лишь напоминавшим.

Я не стал молиться о ста тысячах душ, уводимых в смерть, но когда я вышел из тени стены на яркое солнце, тысячи и тысячи агоний заслонили мне день: тысячи погибающих сегодня обступили меня, тысячи солнц ссыпались в тьму: я видел множество восковеющих, проострённых лиц, выкаты белых глаз; сладковатая тлень, вгниваясь сквозь ноздри в мозг, не давала ни думать, ни жить. Помню, это пронизало меня почти физически. Я присел к одному из ресторанных столиков — мне придвинули прибор, и в ту же секунду я увидел тысячи их — на столах, с западающими ртами, медленно охлаждающихся, беспомощных и пугающих, выключенных из сегодня в никогда. Я не стал есть медленно остывающего минестроне, и мысль моя делала лихорадочные усилия, лишь бы вышагнуть из проклятого чёрного квадрата. Тогда-то и пришла мне на помощь моя тема. Она вхлынула в меня как-то сразу. Схваченный ею, помню, я механически поднялся и, быстро расплатившись с...

Тут рассказчик — вслед за ним и другие — повернул голову на звук резко

отодвигаемого кресла. Неожиданно для себя я увидел Рара, вышагнувшего из круга замыслителей; в руке у него был ключ, который за секунду до того лежал на выступе камина.

— Ухожу, — коротко бросил он.

Ключ металлически щёлкнул, дверь рванулась с порога, и шаги Рара оборвались за глухо хлопнувшей где-то внизу створой.

Все с недоумением переглянулись.

— Что с ним? — приподнялся Шог, как если б хотел догнать ушедшего.

— К порядку, — раздался сухой голос Зеза, — сядьте. Или, если уж встали, прикройте дверь. Мимо. Фэв продолжает.

— Нет, Фэв кончил, — отрезал тот, гневно пузыря щёки.

— Потому что ушёл этот? — запнулся Зез.

— Нет. Потому что с этим ушла — вы только представьте себе — и та: тема.

— Вам хочется, очевидно, перечудачить Рара. Пусть. Будем считать заседание закрытым. Но давайте условимся о программе следующей субботы. Очередь Шога. Предлагаю ему прыгать с трамплина, поставленного Фэвом. Пусть он — вы слышите, Шог, — увидит себя у стены, перед бумажной наклейкой в чёрной кайме, пусть перемыслит — вслед Фэву — мириад агоний в одном «сегодня», и затем желаю ему допрыгнуть: с чёрного на белое.

Шог откинул упрямую прядь со лба:

— Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину — как вы это называете — я возьму сквозь отказанную, первую тему сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя срока. Авось допрыгну.

VI

С каждым днём, придвигавшим меня к следующей субботе, я всё крепче запутывался в собственных своих догадках и домыслах. Как было понять «ухожу» Рара? Была ли это простая демонстрация, направленная против Фэва, или протест, бьющий гораздо сильнее и дальше: может быть, это было твёрдое решение, а может быть, и минутный каприз: от чего он отстранялся — от ста тысяч или от шести? Вспоминалось бледное, в себя глядящее лицо, неровный, удаляющийся шаг. Может быть, ему нужна моя помощь? И я уже не думал — идти или не идти. К тому же притяжение суббот, втягивающая сила пустых полок, чёрный соблазн бескнижия, очевидно, начинали действовать и на меня.

Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу убийц букв. Над затоптанным снегом мглилось уже первое предвесеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно

стуча слезами с панелей. Когда дверь впустила меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Рара. Пришли все: кроме него.

Как всегда — раз и ещё раз щёлкнул ключ, как бы отделяя комнату чёрных полок от мира, — и я почувствовал короткий и тёплый толчок в мозг.

Шог, которому предстояло говорить, тоже несколько раз кряду, с выражением беспокойства, оглядывал место, не дождавшееся человека. Председатель подал знак — тогда, повернувшись лицом к тёмной яме камина (близящаяся весна потушила его), он сделал усилие сосредоточиться и начал:

— Марка Лициния Септа нашли у порога полутёмного таблинума: он лежал мёртвый меж развёрнутых свитков.

Рабы покойного Септа, Манлий и старый хромой Эзидий, перенесли тело на каменную скамью таблинума, наскоро одели в лучшую тогу с тонкой красной каймой, омыли лицо и рот, облипшие кровавой пеной, разжали стиснутые смертным спазмом зубы и, вложив в них медный обол, занялись похоронными хлопотами.

Две старых плакальщицы, нюхом учуяв покойника, уже стучали бронзовым молотком у дверей заднего дворика; там у шепеляво брызжущего фонтана Эзидий спорил с пискливыми старушечьими голосами, стараясь выторговать хоть десяток-

другой сестерций: покойный Марк Септ был беден — приходилось экономить.

Манлий побежал заказывать похоронную лектику, купить благовоний, условиться с факельщиками и оповестить двух-трёх друзей покойного. Марк Септ жил бедно и одиноко среди папирусов и вощёных дощечек, чуждаясь близости с людьми. Манлий думал управиться до захода солнца.

Но труп нельзя оставлять без призора: этим могут воспользоваться злые ларвы и бродячие тени.

— Фаба, эй, Фаба, где ты?.. Опять на улице, шалунья. Поди сюда. Вот скамеечка: сядь у ног господина. Не бойся, что он белый и не шевелится, — господин умер. Ну, тебе ещё не понять: сиди здесь смиренно, пока Эзидий не кончит со старухами. А там подоспею и я.

У маленькой шестилетней Фабы было своё важное дело, и, не прикажи ей так строго отец, она ни за что не осталась бы в полутёмной комнате: за домом, у перекрёстка, расположился, со своим лотком, продавец засахаренных фиников, изюма и фиг смотреть и то приятно. А здесь...

Фаба села на скамеечку, поджав ноги, и стала прислушиваться: в таблинуме было тихо; синяя большая муха прозуде-ла и затихла: но и сквозь стены доносился голос продавца: «финики, финики — по оболу вяза. Купите сладких фиников — по оболу — только по оболу»...

— О если б, — забилось маленькое сердце, и Фаба облизнула пунцовые губки.

Марк Лициний Септ лежал, зажав обол меж каменеющих губ, и тоже слушал: пройдя отонённым смертью слышаньем сквозь голоса плакальщиц, выкрики продавца; дальше — сквозь шумы и клики улицы; дальше — сквозь разговоры земного круга — он ясно различал и дальний плеск Харонова весла, и печальное шептание теней, зовущих и его туда, к чёрным водам Ахерона. Мёртвому Септу звучали — и шаг звезд, идущих по дальним орбитам, и шорохи букв, копошащихся в свитках папируса, не убранного с пола, были вняты и думы Аида и мысли маленькой Фабы, дочери раба, сидящей вот тут, у его изголовья. В остеклевающих зрачках — сквозь муть — просинели сиявшие из дрожи ресниц глаза дитяти: жизнь. И тотчас же зрачки стало медленно втягивать мглой.

Весло Харона плеснуло ближе.

— Сладкие финики, сушёные финики — по оболу, только по оболу.

— О, владычица Юно, если бы мне... — прошептала Фаба. И страшным последним усилием каменеющих мускулов

Лициний Септ разжал зубы (от усилия пелена вокруг глаз сгустилась — застав Фабию, стены и весь круг земли), и медный новенький обол, скользнув из губ, покатился по полу и с лёгким звоном лёг у ног изумлённой Фабы. Она поджала ножки к самой доске скамьи и часто дышала. Всё было тихо. Неподвижный господин ласково улыбался ей прозрачно-белым лицом. Фаба протянула руку к оболу.

Финики были очень вкусны. А Марка Лициния Септа похоронили так, без обода: недоглядели.

Сроки Септу исполнились. Вознесённый над землею, скользил он среди жалобно шепчущих теней к обиталищу мёртвых. Позади пронзительные визги и ритмические выкрики сторговавшихся таки плакальщиц, впереди плескание чёрных волн Ахерона.

Вот и срыв берега. Звук вёсел — чу. Ближе. Ещё. Ладыя отёрлась бортом о берег. Шаткие тени слетались на шум: с ними и Септ. Старец Харон упёрся ступнёю в берег. В блесках кровавых зарниц выступало и никло его лицо: выдвинутая вперёд нижняя челюсть, обросшая спутанной седой бородой, хищный блеск глаз. Трясущейся костистою рукою Харон быстро, привычным движением, ощупывал рты мертвецов — и оболочки, один за другим, звенящею струей, падали в кожаную суму, прикреплённую к набедрию старца. Пальцы его коснулись и губ Септа.

— Обол, — спросил перевозчик, — где твой обол за переправу?

Септ молчал. Тогда Харон оттолкнулся веслом; ладыя, наполненная тенями, отчалила. Септ остался один у опустевшего берега Смерти.

На земле: день — ночь — день — ночь — день. А у чёрных вод Ахерона: ночь — ночь — ночь. Без брезга, без полдня, без сумерек. Тысячи раз причалила, тысячи

раз отчалила ладья Перевозчика, а Марк Септ всё оставался один — меж жизнью и смертью. Всякий раз, заслышав плеск ладьи, приближался он к шуму вод, и всякий раз скряга Харон отстранял его, не принесшего оболы, от борта. Так бродил Септ, не принесший оболы, у чёрных вод: покинувший жизнь и не принятый в смерть.

Просил он у слетавшихся теней об оболе: но те, стиснув крепче в замерших губах плату Земли Аиду, пролетали мимо. Тьма смыкалась за ними. Понял Септ — мольбы напрасны: и, обернувши лицо к земле, стал он ждать, годы и годы, когда придёт к Ахерону та, которой он отдал свой обол мёртвых.

Финики были сладки, это так — но жизнь горька и безрадостна. Девочку Фабию, дочь раба, после внезапной смерти господина четырежды перепродавали. Когда Фабия стала красивой синеокой девушкой, зацеловали губы её и заласкали тело. Так переходила она из рук в лапы, из лап в щупальца. Печаль вошла в синие глаза рабыни и не уходила из не-перепроданной души её. Время катилось от года к году, как стёртый обол, оброненный наземь. Последний хозяин тела, старый проконсул Кай Ригидий Приск, был щедр к своей наложнице: Фабия спала на мраморном ложе среди курений и веющих опахал, но странный неотступный сон трижды посетил её: снились плески чёрной реки; чьё-то знакомое, милое-милое, лицо с окаменевшим, мучительно разжатым ртом; чей-то печальный, из далей зовущий шёпот: обол — отдай мне обол — мой обол мёртвых.

Целые горсти их раздала Фабия нищим и в храмы: но видение не изникало.

Проконсул Ригидий умер. Фабии предстояло перейти к его наследнику, по инвентарному списку. Когда слуги наследника пришли к её порогу, никто не откликнулся за пурпуровой завесой. Вошли внутрь: Фабия лежала на мраморном ложе, неподвижно раскинув руки: как для объятий. Вещь, занумерованную в инвентарном списке номером пятым, пришлось, с соблюдением соответствующих формальностей, вычеркнуть: кладбище самоубийц приняло новый труп.

Марк Септ узнал близящуюся тень: она скользила в веренице мёртвых, с запрокинутой назад головой, с прозрачно-белыми руками, раскрытыми будто для объятий; меж бледных губ мерцало полукружие оболы. Подплыла ладья. Септ преградил путь Фабии.

— Ты узнала?

— Да.

— Здесь меж смерти и жизни — годы и годы — жду. Отдай обол, отдай мне обол мёртвых:

Тогда...

И рассказ вдруг остановился, как если бы и ему преградили путь.

— И тогда, — повторил Шог, медленно обводя глазами круг своих слушателей, — как бы с этим «тогда» поступили, ну хотя бы вы, Хиц?

Спрошенный удивлялся не более секунды; быстро выставившись навстречу вопросу острями подбородка и локтей, он стал притискивать слово к слову:

— К вашему «тогда» незачем приискывать «когда». Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в котором легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь как знаете. Я к Ахеронам не ходок.

— Ну, а вы, Дяж? — продолжал Шог, и нельзя было разобрать, шутит ли он или спрашивает всерьёз.

Круглые стёкла мотнулись из стороны в сторону:

— Любезный Шагг, то есть виноват, Шог, с вашими тенями я бы распорядился так: один обол на двоих. Всё же больше, чем ничего. Получив его, Харон пускает в ладью — и Фабию и Септа. Но, доплыв до середины Ахерона, меж двух берегов, смерти и жизни, божественный скряга говорит им: «Вы уплатили мне за полупуть». И герои ваши, над которыми уже занесено грозное весло адского перевозчика, принуждены высадиться посреди реки: прямо к знаменитым, воспетым Эврипидом и Аристофаном, божественно квакающим ахеронским лягушкам. Туда и дорога.

Шог, поблагодарив кивком головы, повернулся к следующему:

— Фэв?

— Тому, в чьих лёгких расселась одна из этих ахеронских жаб, — дно реки,

обтекающей смерть, не всегда внушает смех. Скажу одно: от вашего рассказа у меня медный привкус на губах. Спрашивайте следующего.

Но следующий, Тюд, не стал дожидаться своего имени. Придвинувшись к Шогу — колени к коленям, — он быстро заговорил:

— Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «и тогда...» — постоите — и тогда Фабия приблизила к Септу обол, сверкавший меж её губ. Септ потянулся к нему изжаж-давшимся ртом. Сначала слились губы, потом — души. А обронённый обол, скользя вниз, канул в чёрные воды межмирья. Ладыя отчалила без них. Двое остались меж смерти и жизни, потому что любовь это и есть... понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.

— Я скажу, — глухо отозвался тот, — что вместо придумывания концов лучше передумать заново начало: я бы строил его совсем по-иному...

— Почему?

— Не знаю. Может быть, потому, что я человек... человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.

VII

Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени вдвигалось пустое, молчаливое кресло Рара. Как бы поступил он с оболем мёртвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось. Возможность случайности устранялась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой был таков: посетить ещё одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Рара и осторожно выведать его настоящее имя, а если можно, и адрес.

Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жёсть подоконника размеренно, по-псаломщицьи, бормотали капли.

Шесть раз переменял мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.

Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шёл медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел человека, быстро сбежавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюда, — я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:

— Собрания не будет. Вы знаете о Раре?

— Нет.

— Как же. Дуло меж зубов и... Завтра под лопату.

Я стоял ошеломлённый, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:

— Ничего. Придётся прервать собрания: на неделю-другую — не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому ещё не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случилось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.

Дверь захлопнулась.

Я хотел позвонить ещё раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в чёрную ночь за окном, — тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.

Я их не ждал: они пришли сами — одна вслед другой — пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщёлкнул крышку. Субботы закивали головами, так-так, — губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались вперёбой под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота чёрных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.

Вот уже четвёртая ночь на исходе. На исходе и слова. Моё писательство, начавшееся — так неожиданно для меня, — еле родившись, и умрёт. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда — словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.

Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, — и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьёт их.

Ну, вот и всё, вот и ткнулся в дно. Опять без слов — навсегда. Экстазы четырёх ночей взяли из меня всё: до предела. И всё же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне разорвать орбиту и вышагнуть за я!

Вот — отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.

*Оцифровано с издания:
Сигизмунд Кржижановский
К81 Сказки для вундеркиндов. М.: Издательство «Гудьял-Пресс», 2000. 560 с.
(Серия «Лабиринт»).*

*ISBN 5-8026-0071-3
УДК 821.161.1-322.9Кржижановский
ББК 84(2Рос-Рус)6-445*

<http://www.asenic.front.ru>, 2005